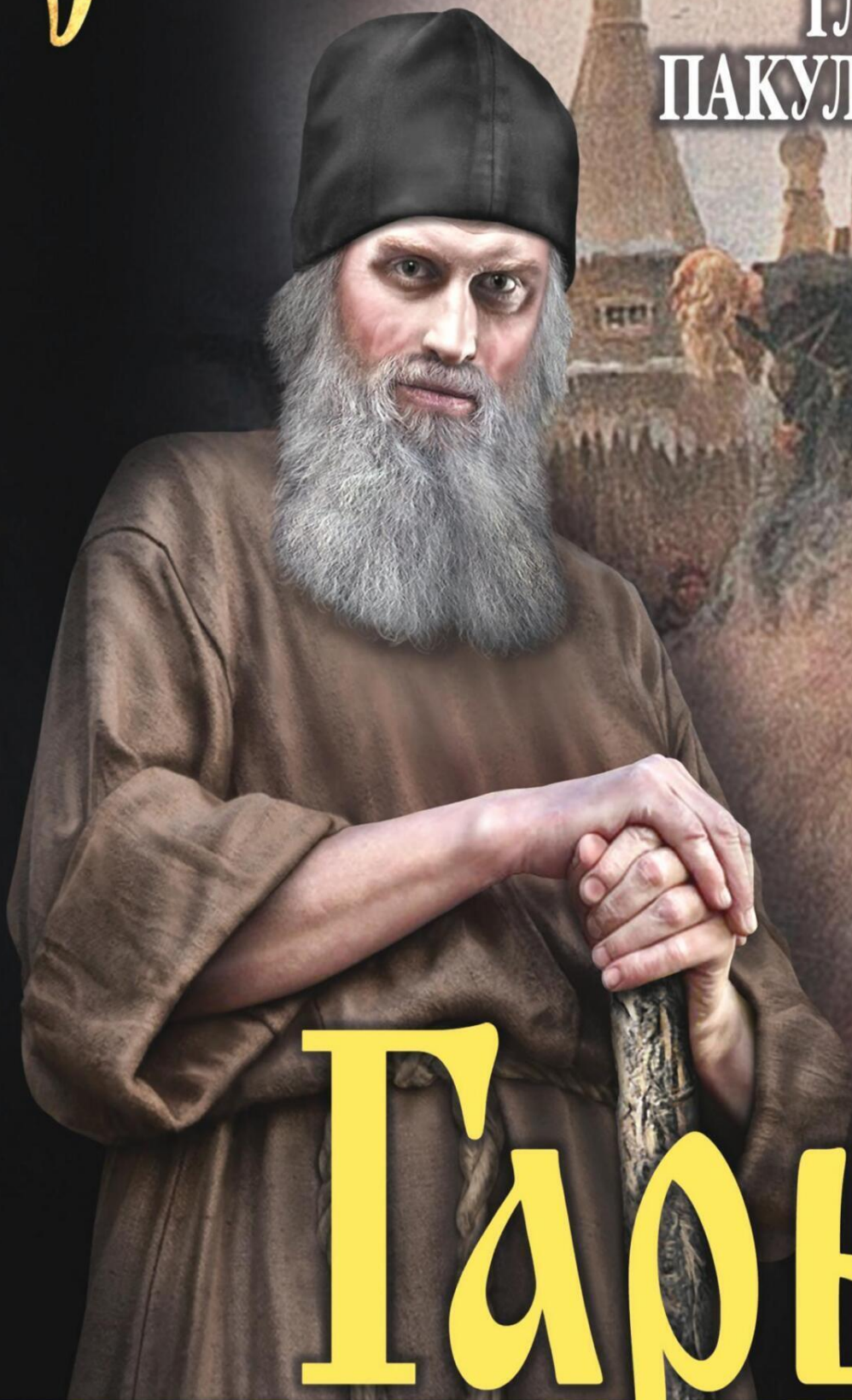


СИБИРИАДА

ГЛЕБ
ПАКУЛОВ



Гарь

Сибиряда

Глеб Пакулов

Гарь

«ВЕЧЕ»

2022

Пакулов Г. И.

Гарь / Г. И. Пакулов — «ВЕЧЕ», 2022 — (Сибиряда)

ISBN 978-5-4484-8792-7

Новое издание романа Глеба Пакулова «Гарь» полностью раскрывает историю русского церковного раскола середины XVII века. В центре романа — судьба великого русского писателя и «стоятеля за святоотеческую веру» протопопа Аввакума Петрова. Никакие мучения не смогли заставить Аввакума отказаться от своей правды, и после пятнадцатилетнего сидения в земляной яме города Пустозерска он был заживо сожжён вместе со своими единомышленниками. Живо предание, что из пламени сруба поднялась опалённая рука Аввакума с древлеотеческим перстосложением и раздался его голос: «Вот так креститесь!..» Занесло песком Пустозерск. Года смыли гарь и пепел, но стоят чёрными гвоздями вбитые в память народную «Аввакумовы пенёшки». Книга содержит нецензурную брань

ISBN 978-5-4484-8792-7

© Пакулов Г. И., 2022

© ВЕЧЕ, 2022

Содержание

О романе «Гарь» Глеба Пакулова	7
Глава первая	14
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Глеб Пакулов

Гарь

© Пакулов Г. И., наследники, 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2022

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

СИБИРИАДА

ГЛЕБ ПАКУЛОВ

Гарь

2-е издание, переработанное и дополненное

Москва
«Вече»

О романе «Гарь» Глеба Пакулова

Русский философ Василий Розанов когда-то написал о расколе: «... это явление страшное, это явление грозное, удивительное явление нашей истории. Если на Всемирном Суде русские будут когда-нибудь спрошены, – от чего вы никогда не отрекались, чему всем жертвовали? – они найдутся, в конце концов, указать на старообрядцев: вот, некоторая часть нас верила, не предала, пожертвовала».

Роман «Гарь» посвящён трагедии духовной гражданской войны, глубоко потрясшей в середине семнадцатого века вековые устои России, трагедии, которая вошла в отечественную историю как русский церковный раскол. Известный исследователь раскола Д. Л. Мордовцев писал об этом: «В тяжёлые шестидесятые годы русская земля раскололась надвое – разорвалось надвое русское народное сердце, надвое расщепилось, как вековое дерево, русская народная мысль, и сама русская жизнь с этих несчастных годов потекла по двум течениям, одно другому враждебным, одно другое отрицающим...» (*Мордовцев Д. Л. Великий раскол. М., 1901*).

Название романа «Гарь» имеет глубокий смысл: гарь – это пожарище, в котором сгорали люди святоотеческой веры во время патриаршества «безбожного Никона» и последующих гонений на всех, кто остался приверженцем «народного», «природного», а не «казённого» православия. «Гарь» – это метафора, это обобщённое восприятие несчастья твоей Родины, твоего народа, потерявшего силу веры и оказавшегося в результате перед угрозой потери всего русского мира. Это как в известной песне – «горит, горит село родное, горит вся Родина моя».

События раскола, разделившего народ и ослабившего духовную мощь русской церкви – хорошо известны из учёных трудов, исторических монографий и даже романов. «Но роман Глеба Пакулова, – пишет известный поэт Сибири Ростислав Филиппов, – стоит в этом ряду особняком – куда ни посмотри, он везде отличен: и по замыслу, и по исполнению задуманного, и по письму, и по связи с теперешней русской душой. Уверен, подобного «Гари» произведения не создавалось ни в нашей иркутской, ни в сибирской, ни вообще – в русской литературе».

Глеб Пакулов подступал к роману не без робости: очень долго (в течение почти пятнадцати лет) изучал исторические документы, труды русских и советских историков, а главное, первоисточники – сочинения протопопа Аввакума, его сподвижников, письма царя Алексея Михайловича к патриарху Никону и Никона к царю. Не садился за роман до тех пор, пока не почувствовал трагедию раскола через личные судьбы героев, с тем, чтобы представить раскол не просто как историческую реальность, а как «события души» участников этой драмы, когда им пришлось стоять перед выбором – вступить за народную вековую веру, обычаи и стореть, отстаивая свою правду, либо поддаться «затеем и заводам пустошного века сего» и «потерять душу» – на наш, сегодняшний взгляд, поддаться «смертельным ласкам» Запада и самим потворствовать очередному и очень мощному его наскоку на «русский мир» в середине XVII века.

Суть расхождения старообрядцев с «никонианами», Аввакума с Никоном и царём, общеизвестна. В романе нет прямого ответа на вопрос – кто прав, кто виноват, кто кого одолел, насколько сумели старообрядцы, по словам Николая Клюева, «разнести по русской шире, как выюга, искры серебра от пустозерского костра» и, наконец, имели ли реформы Никона законную силу, т. е. канонические и исторические основания – об этом пусть спорит наука. Главное, что хотелось писателю – создать индивидуальный, неповторимый облик человека нового «бунташного» времени, людей ренессансной мощи и страсти, сложных и мятежных, каким было и время, их породившее.

В центре повествования «великий упрямец и гениальный виртуоз русского письма» протопоп Аввакум, навсегда оставшийся образцом стойкости, твёрдости духа, готовности к жертвам и лишениям во имя своих убеждений. Он из тех людей, которые не позволяют себе

пребывать в состоянии «окаменелого нечувствия», если Родина в беде, если рушатся заповеданные предками устои жизни: для Аввакума коренное «древнее» православие накрепко связано с народной жизнью и судьбой Светлой Руси. Без страха и сомнения протопоп Аввакум пошёл дорогой страдальцев за «русскую правду», дорогой митрополита Илариона, летописца Никона, автора «Моления» Даниила Заточника, Максима Грека, прошедшего все известные тогда тюрьмы. Писатель хочет постичь смысл Аввакумовых страданий, его душевной боли, кричащей с писанных лучинкой берестяных листков его пустозерских «Посланий». В романе показано, как Аввакум на разных этапах своей многострадальной жизни разоблачал пагубность новин заёмной «бесовской веры» и сознательно, принимая это как Божье веление, выбрал тернистый путь – отстаивать свою правду посредством Слова. Аввакум понимал, что его ждёт – ведь служение Слову, литературе традиционно приобретает в России черты жертвенности и мученичества. «Рубите голову, надевайте на неё венец нетленный!» – в минуту страданий кричал своим мучителям «огнеязыкий» протопоп, «последний истинно верующий на Руси», по определению В. Розанова. Эта решимость и сделала протопопа Аввакума великим писателем земли русской, первым провидцем, понявшим – откуда грозит «Святой Руси» главная опасность: «...возлюбилша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя».

«Алексей Михайлович, Никон со своими присными – уже история, от глубины которой закипает кровь» – пишет один из исследователей раскола С. А. Алексеев (*Алексеев С. А. Мир и мы. М.: Хранитель, 2008*). Глеб Пакулов тоже ощущает время исторической драмы раскола как ещё не до конца пережитое и отболевшее. Он ясно показывает, что, по словам В. Распутина, «расплевавшись со своим староверием, Россия оказалась втянута в староверие чужое». Для Пакулова время религиозного раскола века сродни нынешнему – и сегодня безжалостно ломают народную жизнь и все нестроения проходят через сердце художника. «Современность проникает из его книги в читательское сознание, как хоровое пение из стен храма», – пишет Р. Филиппов. Если бы автор не видел эту связь времён, если бы не верил в то, что наработанные веками русской жизни «древние» устремления могут умерить навязываемые нам сегодня страсти безудержного потребления, если бы не верил в приоритет духовных начал в жизни людской – вряд бы он бы взялся за перо.

В результате Глебу Пакулову удалось написать роман, который привлёк внимание не только любителей художественного слова, философов, но и психологов. Как пишет московский поэт и критик М. Аввакумова, «писателю оказались доступны толкования загадок человеческого поведения: от низости до героики».

С главным героем романа, протопопом Аввакумом, читатель знакомится с первых его страниц: он в толпе москвичей, встречающих, как и другие «ревнителю благочестия», мощи святителя Филиппа. Все они, в том числе и Никон, единомышленники – назрели перемены, народ стал пошаливать, в церкви Божии ходит с ленцой, а «пьёт гораздо», да и попы не отстают. Г. Пакулов характеризует Аввакума разными средствами. Иногда автор смотрит на протопопа глазами его друзей и соратников, иногда врагов, в том числе и Никона, сказавшего на собрании «ревнителей благочестия»: «изрядно начитан ты, Аввакум... а грамотеи нужны будут», тем самым писатель сразу раскрывает читателю свою позицию: борьба приверженцев «старой» веры с «нововерцами» – вовсе не бунт малограмотных провинциальных попов, как ещё и сейчас пытаются представить раскол иные церковные и светские историки, а исторически закономерная, естественная попытка людей, не понаслышке знающих «предание святых отец», отстаивать свои идеалы. Аввакум – не рядовой протопоп, с самим царём знаком, с его духовником, Вонифатьевым, дружен, у царицы «в верхах» его родной брат служит. Везде в романе, и в начале своего духовного поприща, в Москве, и в мытарствах по «тундряной» Сибири, и на Священном соборе Аввакум является полнокровным, живым, ярким человеком: он может с юмором отнестись к вольным, рискованным шуткам весёлых молодых попцов, которые едут с ним по Клязьме, стойко и с достоинством выносить издевательства сибирского воеводы Паш-

кова, жестокие «казни кнутобойные», и при этом сохранить до смертного часа душу, полную любви и жалости к людям, даже к своим мучителям («бес до меня лют, а люди добры»).

Несмотря на явные симпатии писателя к старообрядцам, противник Аввакума, Никон, предстаёт в романе не только через восприятие и оценку его личности глазами Аввакума, для которого он «рыскучий зверь, душевный погубничек». Никон раскрывается в развитии, сложен рисунок его характера.

Историк Д. Л. Мордовцев так оценивал Никона и Аввакума: «И тот и другой – борцы сильные, с железною волею. Одному почти всю жизнь везло счастье – да такое, какое редко кому выпадает на долю в истории, и только под конец жизни сорвалось, потому что самое счастье слепое, ослепило и своего любимца... Другого всю жизнь колотили – буквально колотили. Никон несколько лет самовластно правил всею Россиею, жил в царской роскоши, считался «собинным другом» царя. Аввакум почти всю жизнь был нищим, как апостол... Но едва власть ускользнула из рук Никона – он раскис и измельчал... Аввакум выдержал себя до конца – до мученического костра». (*Мордовцев Д.Л. Великий раскол. М., 1901.*)

Глеб Пакулов отдаёт должное Никону как государственному деятелю, организатору, строителю, достойному противнику мятежного протопопа. Писатель не без симпатии описывает его начальные шаги в устройении церковных дел. Но, получив, не без помощи «ревнителей благочестия», патриарший престол, Никон постепенно приобретает черты человека, ослеплённого всевластием – последовательно и жестоко расправляется с послушниками патриаршей воли, с бывшими единомышленниками и друзьями. Толкуя вкривь и вкось вместе со своим «собинным другом», царём Алексеем Михайловичем (представшим в романе умным, дальновидным и отнюдь не «тишайшим» человеком), знаменитую филофеевскую формулу: «Москва – третий Рим», Никон возмечтал стать Вселенском патриархом, стал всех убеждать, что «священство выше царства», отчего и сам попал в царскую опалу. Писатель подробно изображает его заточение, скорее, почётную ссылку, в Ферапонтов и Кириллов монастыри, его сомненья в правоте своего дела, так круто развернувшего огромную страну, что уже и нельзя вернуться к старому. Нелегкие раздумья, неспешное чтение святоотеческих книг привели опального Никона к убеждению: «все книги добры», и (тому есть множество свидетельств современников) в последние годы монастырского сидения Никон отправлял службу по старым службникам. Так это было на самом деле или не так, не очень уж и важно для писателя: по убеждению Глеба Пакулова – если и нет здесь исторической правды, то есть Божья.

«Книга густо населена русскими людьми всех сословий, чинов и званий. Тут и «ревнители благочестия» Неронов и Вонифатьев, и самые низы – нищие и юродивые, и народ служивый – воины и воеводы (тот же Пашков чего стоит!), и думные бояре, и разное духовенство, и подъясачный сибирский люд, и прочие, и прочие... но не подёрнуты они патиной исторического романа, а явлены в живом обличьи, как соотечественники, которых – выйди на улицу! – и встретишь, и поговоришь с ними, и ощутишь себя в кругу тех же мыслей, которые тебя давно волнуют. Роман «Гарь» даёт это острое чувство сопричастности и к истории России, и к её нынешним дням» (*Филиппов Р. Превосходный роман Глеба Пакулова. ВСП, 2006*). Действительно, много в романе народу и всяк со своим лицом, есть и персонажи на грани яви-видения, как Ксенушка, которая являет собой образ самой Руси, святой и грешной, погибающей и воскресающей, явленной и подспудной...

«Окунаясь в это произведение, как в «океан многозвонный», мы, читатели, неожиданно понимаем, что ничего не меняется в природе человека и сильные характеры всегда прекрасны» (*Зотов С. Наш современник. М., 2006*).

Необходимо сказать ещё об одном, а может быть, и самом главном достоинстве романа «Гарь», о его языке. В беседе с писателем и журналистом А. Байбородиним Глеб Пакулов сказал, что «он потрясён красотой, простотой и духоёмкостью Аввакумова вещего слова и хотел в

своём романе «Гарь» донести до читателя подзабытое уже коренное его звучание» (Сибирские огни. 2007. № 6).

Перед Пакуловым встала трудная задача: писать современным языком – потерять аромат эпохи, стилизовать под старину – потерять читателя.

Дадим слово тем, кто писал о языке романа Глеба Пакулова «Гарь».

Р. Филиппов: «Не могу не сказать о блестящей грани художественности романа – о его языке. Письмо «Гари» не стилизовано под «аввакумовскую» эпоху, как это можно было ожидать, в нём нет игры с исторической лексикой, которая подчас годится для всякого сюжета о прошлом. Обаяние письма романа в том, что автор увидел, отыскал, разведал – судите о том, как хотите – особый пласт в действующем современном языке, который соединяет прошлое и настоящее, придаёт нынешним словам какой-то неизъяснимый оттенок историзма, а словам, кажется, уходящим из речевого оборота, неожиданный природный смысл, легко понятный теперешнему читателю» (Сибирь. 2006. № 4).

М. Аввакумова: «Берясь писать о великом страдальце за древнее благочестие, Пакулов очень рисковал не выдержать невольного соревнования с самим автором «Жития...». Однако вышло не соревнование, а созвучие, сотоварищество. Собственно, задумано было рискованное предприятие – пройти сибирскими дорогами страстей Аввакумовых. Карта – в самом «Житии...» Надо было сопережить всё заново, что и привело в музеи, в архивы... и затянуло на много-много лет. Зато теперь мы видим объёмные, стереоскопические картины Сибири второй половины семнадцатого века, прекрасно выписанные портреты Пашкова с семейством и окружением, чуть ли не воочию зрим ребятишек Аввакумовых, светлой тенью скользящую по страницам романа Анастасию Марковну. А уж сибирские пейзажи и состояния природы выписаны с такой любовью и проникновенностью, что целыми страницами хочется перечитывать, чтобы насладиться языком писателя. В чём тут дело? – оказывается, «великий и могучий русский язык» по-прежнему велик и могуч под пером мастера. И способен творить чудеса. Вот как сотворил со мной: благодаря роману «Гарь» я пережила чудесное чувство – радость узнавания Родины своей через древлеотеческое слово... У Пакулова «В начале было Слово». Самодостаточное, почти выжатое из городов, но всё же таинственно живущее русское слово. Ему в романе «Гарь» вольготно, родная речь льётся блаженной рекой по пространствам Сибири, докатываясь порой и за кремлёвские стены, забираясь на порожек Благовещенского собора, а то скатываясь с него на Болота... Пословицы, как живые блёстки, рассыпанные по страницам, яркие, забытые нами, заставляют глаза останавливаться и повторять их, шевеля губами. При этом сама распря, канва повествования, уходит на второй план. Она в этот момент не так и важна нам, как наслаждение Словом. Кроме нефти и газа, кроме драгоценных наших недр есть у нас и ещё ни с чем другим не сравнимая драгоценность... «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское Слово».

У каждого писателя есть свой «Шаманский порог» – известный в Сибири символ страстей Аввакумовых. Глеб Пакулов его достойно миновал.

Роман «Гарь» Пакулов посвятил жене. Но, конечно же, он посвящён всему многострадальному русскому народу, символом которого всё ярче выступает Аввакум Петрович. Хочется верить, что у романа будет немало благодарных, умных читателей, столь же приверженных нашей светлой богородичной России» (Аввакумова М. Мы все из Аввакумова костра // Тобольск и вся Сибирь. М. – Верона, 2007).

А теперь послушаем и насладимся словом самого Аввакума.

«Поехали из Даур, стало пищи скудать и с братиею Бога помолили, и Христос дал нам изюбря, большого зверя – тем и до Байкалова моря доплыли. У моря русских людей наехала станица соболиная, рыбу промышляет; рады, миленькие, нам и с карбасом нас с моря ухватя, далеко на гору несли... Надавали пищи, сколько нам надобно: осетров свежих перед меня привезли... Погостя у них, и с нужду запасцев взяв, через море пошли. Погода окинула на

море, и мы гребми перегреблись: не больно о том месте широко, – или со сто, или с осьмьдесят вёрст. Егда к берегу пристали, восстала буря ветренная, и насилу место обрели от волн. Около его горы высокие, утёсы каменные и зело высоки – двадцать тысяч вёрст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы – и всё богоделанно. Лук на них растёт и чеснок, – больши романовского луковицы. И слаток зело. Там же растут и конопли богорасленные. А во дворах травы красные – и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нём – осетры и таймени, стерледи и омули, и сиги. И прочих родов много. Вода пресная, и нерпы и зайцы великие в нём: на окиане-море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нём: осетры и таймени жирны гораздо, – нельзя жарить на сковороде: жир всё будет. А всё-то у Христа того, света, наделано для человеков, чтоб, успокояся, хвалу Богу воздавал. А человек, суете которой уподобится, дни его яко тень проходят; скачет, яко козёл, раздувается, яко пузырь, гневается, яко рысь, лукавает, яко бес – и не вем, како отходит – или во свет, или во тьму».

Большой соблазн поразмышлять о том, как бы развивалась русская словесность в восемнадцатом веке и даже в пушкинские времена, если бы «Житие» протоппа Аввакума не замалчивалось церковью и властями – ведь оно получило широкую известность лишь ко второй половине девятнадцатого века и сразу же стало предметом удивления и восхищения читающей публики: как удалось писателю бесстрашно соединить в своём творчестве образную мощь лексики библейских пророков и писателей христианского востока с традицией русской учительной и полемической литературы (того же Ивана Грозного и Иосифа Волоцкого, да всё это перемешать с говором московского посада?

Подобно тому, как Христос на апостольском камне (Пётр – с греческого «камень») учредил свою церковь, на камне Аввакума Петрова устоялась вся новейшая российская словесность – в каждом последующем значительном русском писателе всё та же неотрешённость от своей правды, вера в народный идеал, умение чутко слышать красоту родного слова, его неистощимую глубинность.

Высоко ценили творчество протоппа Аввакума, великого гражданина и великого писателя России, русские писатели. И. С. Тургенев, живя и вне России, не расставался с «Житием», любил повторять: «Вот книга. Каждому писателю надо её изучать!» Для Льва Толстого «Житие» было предметом домашнего чтения, и, как вспоминали домашние, читая его, Толстой часто плакал и, кстати, желал видеть Аввакумово «Житие» в школьных хрестоматиях. Алексей Толстой и не скрывал того, что при написании своего «Петра» невольно вспоминал «неистового Аввакума», считал, что с ним «... в омертвелую словесность, как буря, ворвался живой, мужицкий, полнокровный голос». (В скобках заметим, что аттестовать всю русскую доаввакумову словесность «омертвелой» несправедливо, но всё остальное в суждениях А. Толстого, безусловно, верно.) А вот мнение современного исторического писателя Валентина Пикуля: «Каждый писатель хоть раз в жизни должен прикоснуться к этому чудовищному вулкану, – этому русскому Везувию, извергавшему в народ раскалённую лаву афоризмов и гипербол, образов и метафор, таланта и самобытности». И недаром одноземлец протоппа, русский «псалмопевец-баян» Николай Клюев ставил «огненное имя» Аввакума после первого божественного небесного поэта Давида-царя, считал его «первым поэтом на земле, глубиною глубже Данте и высотой выше Мильтона».

Протопп Аввакум – реформатор традиционной для России агиографической (житийной) литературы. Его «Житие» первой опыт автобиографии. Если строго судить, то протопповы «реформы» русской словесности, в сущности, таковыми не являются, его письмо – плод естественного развития русского языка. Он жил в природной языковой стихии и первый сделал этот язык фактом высокого искусства. Он оградил русское слово от входившего в моду

учёного, конструктивного грекофильства и, с другой стороны, западноевропейских барочных словесных завитушек.

Протопоп Аввакум, без всякого преувеличения, родоначальник русского беспощадного реализма и замечательной публицистики от А. Герцена до В. Распутина. И ещё одна, может, первейшая, заслуга великого протопопа заключается в том, что именно благодаря ему сочинительство, литература становятся не только спасительным для души делом, обычным для православного монашества, но и самодовлеющей культурной ценностью. Прав академик Дмитрий Лихачёв: «В тысячелетней истории русской литературы имя протопопа Аввакума горит среди ярчайших её представителей – рядом с Пушкиным, Гоголем, Достоевским и Толстым».

«Старообрядчество – явление до сих пор не разгаданное, скорее, загаданное. Ясно только, что старообрядчество – это серьёзно, это всемирное принципиальное движение; причём из него неизвестно, что могло бы ещё выйти, а из прогресса – известно что...» Так писал в своё время Андрей Платонов. И нельзя с уверенностью сказать, что «древнее православие» не грело душу подвижников никоновской церкви – ведь слышали же многие от преподобного Серафима Саровского: «Если бы решимость имели, то и жили бы, как отцы, в древности просиявшие».

Нам, как и Марии Аввакумовой, уже не понять во всей глубине и значимости для будущего России трагедии раскола. «Стойкие оловянные сродатики старой веры! Какие стужки космической жизни насыщены ею?.. Не вем, не вем... ПРАХ НЕИСТОВОГО В ВЕРЕ АВВАКУМА СХОРОНЕН В ОГНЕННОЙ СТИХИИ МИРА» (*Аввакумова М. Стихи Марии. Изд. дом «Сказочная дорога», 2014. С. 196*).

Ф. М. Достоевский и Н. С. Лесков считали, что «Житие» непереводаемо на европейские языки и тем не менее оно переведено на французский, английский, немецкий, итальянский, шведский, венгерский, японский, китайский, турецкий и др. языки. Творчество протопопа Аввакума тщательно изучают в европейских институтах славистики (интересно, есть ли у нас таковые?). Французский славист Пьер Паскаль (1890–1983) в своём фундаментальном труде «Протопоп Аввакум. Начало раскола» писал: «В нём, в этом гениальном человеке, обитала удивительная духовная свобода, питаемая глубокой верой в провидение и постоянным погружением в сверхчувственный мир». Ученик Паскаля Жорж Нива считал отношение к позиции староверов «мерилом русского патриотизма». Из многочисленных памятников древнерусской литературы лишь два – «Слово о полку Игореве» и «Житие» протопопа Аввакума – считаются памятниками всемирного культурного наследия.

Современные литераторы, те, которые хотят сохранить в своём творчестве «природную русскость», кого волнует русская история «во дни торжеств и бед народных», а также и читатели, которых привлекают «старинных слов узорные ларцы», будут обращаться к творчеству и судьбе Аввакума.

Поверим предсказаниям академика русской словесности В. В. Виноградова: «слава протопопа Аввакума лишь набирает силу, и грядут, грядут еще его святые, «громкопохвальные дни»».

Глеб Пакулов писал «Гарь» с надеждой, что «громкопохвальные дни» великому русскому писателю протопопу Аввакуму – уже реальность.

Тамара Бусаргина

*Бусаргиной Тамаре Георгиевне – жене и другу – надёжному посошку
моему в странствиях по стёжкам-дорожкам Отечества Русского.*

Пуškai раб-от Христов веселится, чтучи!

*Как умрём, так он почтёт, да помянет пред Богом нас. А мы за
чтущих и слушающих станем Бога молить: наши оне люди будут там
у Христа, а мы их во веки веком. Аминь!*

Протопоп Аввакум

Глава первая

Вторую седмицу не молкнет гуд сорока сороков московских колоколен. Звонарь Ивана Великого старец Зосима от труда бессонного изнемог, сидит на полу звонницы, подперев костлявым хребтом каменную кладку, и, вяло помахивая рукой в сползшем на локоть пыльном подряснике, управляет малым звоном, вроде бы только пробуя настрой колоколов, а уж и теперь земля и небо постанывают. И так который день. Едва тронулся Никон с мощами святого Филиппа из далекого монастыря соловецкого, так и возликовали города попутные вплоть до Первопрестольной. В ней теперь пребывать святому, тут ему особая честь и привечание.

Отряженные в помощь Зосиме дюжие стрельцы – пятеро с одной, пятеро с другой стороны семидесятитонного колокола – чуть-чуть покачивают напряженным вервием многопудовое било.

– Бо-ом!.. Бом!..

От колоколен до теремных крыш и обратно метельными табунами шарахаются голубинные стаи. Обессилев, припадают на кровли, но новый рёв меди подбрасывает их, и они, одуревшие, соря пометом и перьями, всполошно уметываются ввысь, но тут же снежными хлопьями сваливаются обратно. Зной июльский, ярь златокупольная, переголосица стозвонная. Ни облачка, ни ветерка.

На много вёрст видны с колокольни окрестные дороги, виляющие к стольному граду. Потому и сидит на самом темени Ивана Великого остроглазый послушник. Он-то и узрел первым в сиреневомаревои дали движение к Сретенским воротам, пыль высокую и шевеленье многолюдное. Векшей скользнул вниз в медностонущее творило, заблажил:

– Везу-у-ут!!!

Откупорил Зосима уши, заткнутые овечьей шерстью, сияясь уразуметь оглушенным умом – о чем вопиет послушник? Уразумел, поднялся на тряских ногах, строго нацелил на стрельцов очёсок кудельной бороденки и бодро зарубил сверху вниз растопыренной пятерней. Уперлись и дружно закланялись по сторонам толстотулого колокола взмокшие стрельцы. И взревела утробно во всю свою грудь крепкокаменная звонница, от рвущей боли в ушах растегнулись стрелецкие рты.

– До-он! Бо-ом-м! До-о-н-н!! Бо-о-ом-м!!!

И, повинуясь Ивану Великому, будто под бока пришпоренные, радостно выиграли все прочие звонницы московские, оповещая люд православный о явлении к месту вечного упокоения святых мощей митрополита Филиппа, умученика Отроч монастыря, давленного по приказу многогрешного царя Ивана Грозного окаянными Малютой Скуратовым.

От гуда всемосковского заколыхалась земля, ахнул, приседая, запрудивший улицы народ хлынул толповою стеной к Сретенью. Вихрь пыльный, горячий выграл над Боровицким холмом и пошел, колобродя, к Зарядью.

У церкви Димитрия Солунского и дальше – вдоль Мучного ряда и до ворот Сретенских – обочь дороги глухим заплотом стрельцы выставлены. Начищенные полумесяцы бердышей волнами колеблются, будто два ручья переливаются, отблескивают ярь солнечную, жгут глаза. Тут, у Солунского, не так гомотно, тут стрельцов погуще, тут сами большие бояре плотно стоят, да в степенности. Им и жара не жара: одеты богато, по-праздничному – в шитых золотом полукaftаньях, в мягких узорчатых сапогах, в шапках горлатных да в опушенных соболями мурманках. У древних князей и бояр седые навесы бород от тяжкого дыха на груди ворошатся. Стоят, переглядываются ревниво – не выпер ли кто поперед другого не по чину. Первенствующий здесь – воевода Алексей Никитич Трубецкой, друг царя. Он и мощи святого Иова встречал. По левую руку от него мается краснолицый и потный князь Никита Иванович Одоевский, комнатный боярин и дружка государев. По правую руку замер степенный, себе на уме, оружей-

ничий Богдан Хитрово, тоже любимец царёв. За ними теснятся полукольцом тесть государя Илья Милославский, дядька царя Морозов Борис Иванович, князья и бояре Стрешневы, Салтыковы, Долгорукие и прочие. Здесь же во втором и третьем ряду приказные дьяки – Иван Полянский с Дементием Башмаком со товарищи.

А обочь дороги, чтоб не застить очей думских бояр, чинно замерло черное и белое духовенство московское, высшее. Наособицу, по другую сторону дороги, впереди пяти рядов певчих, сгучились дьяконы и протопопы во главе с духовным отцом царя – Стефаном Вонифатьевым. Тут одеждой скромной, опрятной, лицами радостными выделяются настоятель Казанской церкви, что на торгу, Иван Неронов, Даниил костромской, протопопы Логгин муромский с Аввакумом Петровым да смешливый муромский поп Лазарь.

За певчими – море людское, мужская и женская часть родовитых фамилий московских. Стоят друг от друга отдельно, как в церкви.

Едва показалась черная, заморской работы рессорная повозка, грянул многоголосый хор, вплеся ладно в колокольный стон. На повозке стоял огромный гроб-колодина, покрытый черным покровом с белым схимническим крестом. В ногах гроба, лицом к сияющим главам кремлевских соборов, сидел митрополит Никон, великий ростом и телом, моложавый для сорока семи лет, во всем черном с черными же четками, свисающими с запястья. Мотая на стороны пегой от проседи широкой бородой, Никон без устали благословлял народ золотым наперсным крестом. Из-под насевших на цепкие глаза кустистых бровей он скользил по лицам синим и веселым прищуром, тая в бороде благодатную улыбку. К повозке сквозь цепь стрельцов рвались толпы, ползли, причитая и плача, убогие и калеки, матери тянули ко гробу святого истаявшие от хвори тельца дитятей. Падал на колени народ, сгибался в земных поклонах к пышущей пылью и зноем земле. Дым кадильный сизо дрожал над головами, блестели златотканые ризы, мокрые лица и бороды. Плач, пение, охи колокольные...

– Бом-м-м! Бом-м-м!

Согнулись и замерли в поясном поклоне бояре, поддерживая высокие шапки. Никон с достоинством кивнул им, благословляя. С особым доброжелательством покивал кучке протопопов, в знак дружеского расположения прикрыл веки.

Сопровождающий мощи святого князь Иван Хованский со свитой уступил место впереди большим боярам и высшему духовенству, а сам смешался с протопопами, кои пристроились следом, далече от повозки.

Шагающий рядом с высоким Аввакумом тщедушный от давней хвори, вялый в движениях протопоп Стефан поманил его нагнуться, прокричал на ухо:

– Храмы-то как-а-ак веселуются!

– Во славу еси! – отбухал Аввакум.

– Радостно, брат!

– Как не радостно! – Аввакум еще ниже склонился к Стефану. – Чаю, не токмо мученика соловецкого встречаем, а?

Стефан улыбнулся, поднял палец, мол, то-то догадливый, но я помолчу пока.

– Че-о-рт!!! – прорезался вопль сквозь радение певчих и звон колокольный. За повозку с гробом сзади ухватился юродивый с огромным на груди каменным крестом, подвешенным на цепи, босой, обернутый по плечам размочаленной рогожкой.

– Лихо нам, чадушки-и! – орал он, тыча в Никона пальцем и натужно задирая к нему лохматую голову с наискось обгорелой скопческой бородёнкой. – Чиннай-блохочиннай! Серой воняет! Козлицем! Тьфу-у!

Князь Хованский проворно подметнулся к нему, напёр грудь, отдавливая в сторону от телеги, но тот мертво вlepил ладони в грядки повозки и вопил, пяля безумные глаза от какого-то ужаса, одному ему явленного. Все же князь отгёр его на обочину, поддел коленом. Юрод

пал на четвереньки, выжал над лохмами свой тяжкий крест, будто щитом, заслонился им и заблажил жуткое:

– Еде-ет Ниха-ан, с того света спиха-ан!!!

Оторопевший было князь торкнул его кулаком в шею, и тот выронил крест. Падая, крест цепью дернул за собой юродивого, и он впечатался лицом в истолчённую в пыль дорогу.

Из толпы, напиравшей на стрельцов, заревели, громада тяжело колыхнулась, еще сильнее налегла на служивых, прорвалась обидными криками:

– Нелепое творишь, княже!..

– Бога побойсь!

Растрёпанная великоглазая жёнка, повиснув на древках бердышей, плевала в князя.

– Христа ради, юродивого – в шею! – вывизгивала она. – Святого? Чума на тебя!

Хованский, винась, обмахивал грудь мелким двуперстием и, загребая пыль усталыми ногами, в полуобмороке от многодневного колокольного гуда, пения, жары и ладанного дыма брёл, отстав от телеги. Бабу, не перестающую вопить, рыжий, с пересохшими губами стрелец, тоже очумелый от жары и пыли, ткнул тупым концом бердыша в тощий живот, и та, обезголосев, откинулась на руки толпы...

Перед церковью Казанской Божьей Матери, уже на виду Кремля, процессия остановилась. В заранее приготовленные сани, застланные коврами, златотканой парчой и запряженные шестеркой лошадей цугом, блистающих драгоценной сбруей, перенесли гроб-колодину. Далее святой Филипп поедет, как и положено митрополиту, – зимой и летом – в санях.

Медленно, наискосок через Красную площадь, великое скопище народа поплыло к воротам Фроловской башни, недавно надстроенной диковинным, стрельчатым верхом с боевыми часами. Площадь бурлила людским водоворотом, некуда шапке упасть. Трещали торговые ряды и палатки, сыпались пуговицы, колыхались над головами иконы и хоругви, крики, сдавленная ругань, но вдруг на людское море упала напугавшая всех, почти забытая за многодневный перезвон тишина: то враз смолкли все колокола, и великая тишь мигом присмирела, сковала немотой площадь. Тянулись из рубах шеи, топорщились вверх бороды, жадно пучились глаза, нашаривая в проеме ворот, в сплошном сиянии одежд вышедшего навстречу мощам в окружении кремлевского духовенства государя-царя всея Большой и Малой Руси, великого князя Московского Алексея Михайловича.

Молодой и круглолицый, недавно отпраздновавший свое двадцатитрехлетие царь, облаченный по случаю великого торжества в Большой наряд, долгим и низким поклоном встретил мощи святителя Филиппа. Казалось, тяжелый золотой крест на золотой же толстой цепи, массивные оплечные бармы, сияющий камнями самоцветов венечный узор не дадут государю распрячься. Никон, утруженно, налегая на рогатый посох, пошел к царю, издали благословляя его, шел с открытой люду радостью на широком сероглазом лице. Вроде бы не к месту и времени было являть столь явное довольство, но ничего поделать с лицом своим не мог. В пазухе, на груди, надежно ухороненная, лежала и льстила сердцу грамотка государя, написанная ему сразу после смерти дряхлого патриарха Иосифа и доставленная в Соловки. Грамотка эта весьма и весьма поторопила его тронуться с мощами в Первопрестольную. В ней после горестного сообщения о преставлении патриарха вскользь да бочком намек сделан, мол, скорехонько ожидаю тебя – великого святителя, наставника душ и телес, к выбору нового патриарха, а имя того нового, сказывают, святого мужа знают только трое. Первый – царь, второй – отец духовный Стефан, а третий знающий – митрополит Казанский Корнилий. Радуйся, архиерее великий!

Грамотку эту доставил Никону в Соловки Христа ради юродивый Вавила, старый знакомец, помогавший когда-то Никону, тогда еще новгородскому митрополиту, раздавать милостыню в страшный, неурожайный год оголодавшему городу. Царь об этом помнил, а пришло время – только ему доверил сокровенное послание. Знал – слова не перетечёт в чужие уши, верен погробной преданностью митрополиту пригретый и обласканный им Вавила-Василь.

Алексей Михайлович, хоть и тяжело ему было, распрямился, ласково кивнул Никону, указал на место рядом. Из рук временного местоблюстителя патриаршего престола ростовского митрополита Варлаама взял развернутый лист и стал читать свое молебное послание святому Филиппу. Звонкий, но прерывистый от волнения голос его отлетал далеко. Никон слушал и не слушал, знал послание наизусть, сам чел его в Соловках пред ракой преподобного. Теперь он с интересом наблюдал за напряженными вниманием лицами бояр, стоящих напротив. Уж очень был осведомлен – недолюбливает его большое боярство за откровенную любовь к нему молодого царя.

«Ох-ти, охоньки! – насупясь, думал он. – Какими волчищами-то смотрят на меня, бедненькие. А как и не смотреть: мужицкий сын, из поповичей сельских, а поди ж ты – собиным другом царским выявился. Боятся, ой как боятся, что усядусь на место патриарше. Не щерьтесь, не обнюхав. Придет мое время – сами учнёте слезно просить! Уж тогда-то слезе вашей как откажу? Вот и сочтемся в чинах и знатности. Паче сам преподобный Филипп мне в помощь скорую. Как и не помочь?.. Ваших дедов попустительством оплеван святой и сослан в Отроч монастырь, а там удушен подушкой Малютой Скуратовым, тож великим боярином. Вот и смотрите теперь на верховенство Божией церкви над вашей тленной светской властью, посягнувшей стать выше власти церковной. Внемлите! Вот оно – сам царь державный молит святого о прощении всему роду своему за произвол греховный. Так-то Господь располагает. Не заноситесь!»

Сомлевший в своем тяжком златокаменецветном наряде с потёками пота на лбу и щеках, хлопая длинными слипшимися от покаянных слёз ресницами, Алексей Михайлович искренне просил:

– О священное главо! О святой владыка Филипп, пастырю наш! Молю тя, не презри нашего грешного моления! – Тут голос его ссёкся, слёзы обильно потекли по щекам. Бояре, духовенство, певчие и все, кто был рядом, опустили на колени. Лишь народ на площади остался стоять на ногах, будучи утолчен и сдавлен. Стоять остались только царь да Никон с Варлаамом. Царь справился с рыданием и вознес голос:

– Входи-и к нам с миром-ом!.. Ничто столь не печалит души моей, пресвятый владыко, как то, что не явился ты к нам ранее в царствующий град Москву, во святую соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы к прежде усопшим святителям, чтобы ради наших совокупных молитв всегда пребывала непоколебимой святая соборная и апостольская церковь и вера Христова, которой мы спасаемся. Молю тебя, входи и разреши согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, по прозванию Грозного, содеянное против тебя нерассудством и несдержанною яростию... Хоть и неповинен я в досаждении тебе, но гроб прадеда моего вводит меня в жалость, что ты со времени изгнания твоего доселе пребывал вдали от своей святительской паствы.

Отче святой! Преклоняю пред тобою сан мой царский за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение своим к нам пришествием, и да отыдет поношение, лежащее на прадеде нашем за изгнание тебя. Молю тебя о сём, о священное главо, и преклоняю честь моего царства пред твоими честными мощами, повергаю на умоление твое всю мою власть!

Царя качнуло, он выронил из рук бумагу и под грянувший отдохнувшими голосами архиерейский хор тяжело рухнул на колени. Тут уж и Никон с Варлаамом опустили на землю. Побыв коленопреклоненным, сколь приличествовало, Алексей Михайлович сделал попытку подняться, но не смог. Тогда, опершись руками о землю, он раз-другой без толку подбросил задом, тут его под руку подхватил Никон и помог утвердиться на ногах. Монахи кремлевских монастырей выпрягли коней, сами впряглись в оглобли и поволочили сани под благостный распев хора певчих в ворота, далее по Спасской улице мимо подворий Афанасьевского и Воскресенского монастырей, церкви Святого Георгия к Крутицкому двору. Миновав широкий двор Бориса Ивановича Морозова и церковь Николы Гостунского, вывезлись на Ивановскую

площадь. Тут двигались совсем тихо. Царь с Никоном и сопровождавшими боярами шел за санями. Внезапно взявшийся откуда-то порыв ветра подхватил с гробовины черный, с белыми крестами, покров, распластал в воздухе и швырнул, как постлал, под ноги Никону. И царь и бояре будто споткнулись, замелькали руки священства – кто широко, кто мелко осыпал себя крестным знаменем. Никон, не сбившись с шага, ловко подхватил покров и понес его в руках, прижав к груди двурогим посохом, будто знал и ждал, когда святой Филипп на виду главного храма Руси благословит его, избранного, своей богосмиренной схимой.

Певчие умолкли. Сани остановились у паперти Успенского собора, и при людском и колокольном безмолвии мощи святого внесли вовнутрь и поставили на заранее уготованное место. Началась литургия, великая служба вернувшемуся пастырю.

Протопопы не смогли пробиться сквозь скопище народное. Огромная толпища набила собою Красную площадь, бродила медленным водоворотом вокруг прянишного Покровского собора, а внутри Кремля еще больше утоллась, намертво запыхивала соборную площадь. Дальше Посольского приказа было не протиснуться. Стефан, страдальчески морщась и покашливая, глядя на яркие, накаленные солнцем главы недоступного теперь Успения, на замерший заплотной стеной народ – не протолкаться, – смирился.

– Бог нас простит, – виноватясь, проговорил он. – К святому и завтра не поздно будет. Ко мне в хоромину двинем, отсюда легко протечем, а дружище наш Никон после положения мощей к нам явится.

– А служба-то сладостная на всюё-ту ноченьку! – сокрушаясь, что не попадут в собор, пропел Павел, епископ Коломенский.

– К Стефану, отцы! – густым от долгого безмолвия голосом поддержал Аввакум. – В тиши помолимся преподобному, Никона послушаем. Много ездил, много повидал.

Руками, плечами высокий Аввакум раздвигал народ, за ним, как за баржею, гуськом поспешали друзья-протопопы. Люди, взглянув на Аввакума, сторонились, кто с опаской, кто с интересом оглаживал его взглядом. В пыльном подряснике, черной скуфье, заросший до глаз никогда не стриженной бородой, со впалыми щеками и горящими фосфорическим светом глазами, он воочию являл собою мученика первых веков катакомбного христианства.

От Посольского приказа, мимо двора Милославских прошли к Благовещению, домашней церкви царской семьи, протопопом которой и духовником Алексея Михайловича был Стефан Вонифатьев. Церковь была не заперта, пуста и тиха. На паперти равнодушная от старости к мирской суете, сухоньким, остроносым куличком сидела нищенка. И тут с колокольни братию поприветствовал легоньким, опасливым звоном малого колокола огненно-рыжий, в красной, как пламя, рубахе, звонарь Лунька. Стефан погрозил ему пальцем, мол, не чуди, грешно.

– Чадо нелепое, ёра, – улыбнулся он, – но в вере крепок. И звонарь баский.

– Не я чудю! – радуясь молодости, празднику, рубахе красной, весело отшутился Лунька. – Ветер чудит! Здесь он вольнай, хмельной.

– Прости его, Боже, бесстыдника, – отмахнулся от парня Стефан и попросил подошедшего ключаря: – Собери нам брашно какое ни есть. С утра не вкушали, а уж и вечер.

Молодой поп Лазарь из Мурома, весельчак и простец, прогнусил, изображая шибко подгулявшего:

– И споем гладко-о, есте выпьем сладко-о!

Ключарь, строго глядя на невзрачного Лазаря, пообещал:

– Монастырского дела медок найдется. С Житного тож хорош, да не всякому гош.

Пока ключарь со сторожем над чем-то мудрили в подклети, протопопы усердно молились святому, каждый канон завершая возгласом:

– Преподобный отче Филиппе-е, моли Бога за на-а-ас!..

В добротных покоях царского духовника было просторно и прохладно. Окна по случаю уличной жары занавешены темными покрывалами. В красном углу, сплошь уставленном древ-

него письма потемневшими иконами, царил покой. Едва-едва казали себя богатые оклады, рубинового стекла лампадка тепло подкрасила строгие лики святых, огонек горел стройно, не колеблясь. Пахло подвядшими травами, ладаном, немножко фитилем от трех больших поставцов, утвержденных на широком столе, с горевшими в них свечами.

Принесли и расставили яство. Большую серебряную братину с медовым взваром уместили в центре стола. Прочтя благодарственную молитву, Стефан благословил хлеб, малым черепцом бережно наполнил кубки. Холодный, с погребного льда, чуточку хмельной мёд пить было благостно. Поп Лазарь и тут повеселил: укатив под лоб озёрной сини озорные глаза, зачистил по-пономарьски:

– Не токмо пчелки безгреховные взяток беру-у-т!..

Отдыхали братия – единомышленники, сомудренники. Дух любви и товарищества незримо восседал за их столом. И пусть были они разного возраста – от двадцати до пятидесяти, – связывало их ревностное радение за истинное благочестие Руси, крепкая служба древней вере отцов и дедов, готовность принять смерть за единую букву «аз» в православных божественных книгах.

Ласковая беседа текла, как ручеек тихожурчливый, и вся она, так ли, этак касалась Никона. Пока он странствовал, умер дряхлый и малодетельный патриарх Иосиф. Местоблюстителем патриаршего престола временно стал добрый пастырь – ростовский митрополит Варлаам, старец восьмидесяти четырех лет. По старости он совсем не вмешивался в дела, все церковное устройство давно перешло в руки Стефана с братией. Имя нового патриарха не называлось, но кто им станет, не было тайной.

В сенях затопали, арочная расписанная цветами и травами дверь, тонко звякнув колокольцем, растворилась. Вошел князь Иван Хованский, добрый друг тесного кружка братии, во всем свой человек. Щурясь после дневного света, он вполуслепую прошёл к столу, по пути угадывая сидящих, здоровался, приобнимал за плечи.

– Каково ездилось, княже? Садись, – лаская его серыми глазами, спросил Стефан. – Хошь бы грамотку с дороги наладил. Все недосуг?

Князь припал к чаре и долго, до ломоты в зубах, тянул родникового холода питье. Отставя чару, шумно выдохнул, проволоком тылом ладони по густым усам, какое-то время мрачно глядел в стол, затем тяжело опустил на столешницу дюжий кулак. Свечи вздрогнули, стрельнули дымными язычками.

– А худо ездилось, отцы святые! – Князь поднялся, тёмными омутинами глаз из-под лохматых бровей оглядел сотрапезников. – Никон житья не давал. В монастырь превратил нас, все дни и ночи в молитвах выстаивали, от земных поклонов поясница трещит, а от постов строгих темь в глазах и оморочи. А мы люди ратные, к долгим бдениям неспособные, ну и ослабели всяко. Спроси у дружины – хужей смердов харчевал! Не токмо скудно давал, да еще в тарели заглядывал – не едим ли много, не пьем ли, чего не велено. А кого так и посошком потчевал за безделицу сушую. Совсем уморил. Раньше такого бесчестия князьям да боярским сынам не бывало, а ноне выдал нас государь митрополиту животами. Назад ехали, так со мной разговаривает, как через губу сплевывает! – Хованский рванул себя за бороду. – А я – князь! Рюрикович!.. Уж прощайте меня, выкричался тут, дурной, как наябедничал, но все, что поведал – голая правда. Еще скажу – от новин, что он замышляет, впору будет за Сибирью пропасть.

Князь как-то опасливо опускался на скамью, будто пытал себя – все ли выговорил да ладно ли. Протопопы, кто помрачнев, кто с недоверием, смотрели на Хованского. Распустив яркие губы, страдальчески глядел на него поп Лазарь. Стефан, покашливая, гладил тонкой ладонью красносуконную скатерть.

– Может, чем прогневали брата? – тихо обронил он. – До днесь за ним злобы не водилось.

– Бредня какая-то! – забухал Аввакум. – Я Никона еще попом Никитой знавал. К нему в церковь мальцом хаживал, земляки мы. Он и тогда добром и правдой жил.

Сидящие за столом загомонили всяк свое, но стихли, когда снова – туча тучей – поднялся Хованский. На красное лицо его со впадинами худобы на щеках наплывала бледность, глаза зверьми забились в глазницы и высверкивали оттуда, как из нор.

– Да вы што... отцы мои? Вот крест! – Князь обнёс двуперстием широкою грудь. – Не бредня моя! Да и не гневили владыку, кто бы посмел. Говаривали, уж не порча ли на него наведена, воочую в нем измена видна и внутри и по обличию. А я его и раньше знавал, не хуже Аввакума. По Новугороду еще... К людишкам добр был и милостив, берёт и любил всякого. А в лютый голод всю свою казну спустил. Триста и больше человек в доме его корм имели во всякий день. По тюрьмам милостыню подавать ходил, богадельни устраивал, сам все службы правил, упокойников отпевал. А их тыщи! Когда и спал! А как приключился бунт дерзкий да сбег из города воевода Хилков, вышел к люду сам Никон, увещевал людишек. А народ, он что, разве добро долго помнит?.. Извозили в кровь и в канаву бросили – подыхай! Уж как он на ту сторону Волхова в лодчонке ухлюпал, того не пойму, Бог ведает. Токмо и в тамошней церквушке Господа молил за непутевых овец своих. Когда я с полком московским смял упрямство новгородцев, так што вы думаете? Они же в ноги Никону пали, славили, что унял их, не допустил до крови великой, что зла им не помнит. А он у царя им прощение выпросил. Как же я его не знаю? Вот таким и знаю. А тут за полугодину вроде подменили его...

– Ну как лодию развернуло и понесло супротив течения. А попервости ласкался со мной, – продолжил, налаживая улыбку, Хованский. Он крупнокостной рукой ухватил бледное лицо, повел ладонью к бороде, как бы сдаивая в нее бледность. – К столу звал, грамоты государевы, личной рукой писанные, давал читать. А зачем?

Протопопы в долгом, неловком молчании слушали князя, а он, выговариваясь, успокаивался, сел на скамью, покусал ус, налил себе меду.

Неронов, самый старший из братии, встретился взглядом с Хованским и, повёртывая меж ладонями кубок, вежливо пожурил:

– Ну-у, Иванушка... по церковным делам, по монастырскому строению што бы и не дать почитать. Какая в том корысть?

– Верно, брат Иван! – Тень снова порхнула по лицу Хованского. – И по монастырским и по церковным читывал, но и другие, отличные. Теми он открыто похвалялся мне, а по какой нуже?.. Да как и не похвалиться! Такая в них честь Никону выписана: и солнце он светящее во всей вселенной и друг душевный и телесный! Пастырь избранный, крепкостоятельный. Во как! Забава?..

– Не соромь! – качнулся к нему, будто боднул головой, Аввакум. – В царёвой воле честь воздавать.

– Оно этак, брат, – соглашаясь, уткнул бороду в грудь Хованский, но тут же драчливо вздёрнул ею. – Токмо чаю – высоко-о сидеть Никону. С высоты той как бы мы ему букашками казаться не стали, мравиями малыими.

Опять помолчали. Аввакум пальцем что-то выписывал на красносуконной скатерти, Неронов следил за его рукой, словно силился прочесть невидимые каракули. Тихонько, опасно, чтобы не звякнуть, подливал в свой кубок медовуху Лазарь. Этот разговор, эта тягостная за ним тишина омрачили Стефана. Надо было возвращать лад.

– Ты там Вавилу-юродивого часом не встречал? – спросил он князя. – Давненько его по Москве не видать.

– За нами скоро в Соловках объявился, – кивнул Хованский. – Денно и ношно при Никоне. Ласков с ним брат наш по старой памяти. В Белозерье утянулся.

– Коли заговорили о божьих людях, скажи, за что ты Киприянушку-то, скудного лицом, в пыль втолок? – Стефан поднял укоризненные глаза, тут же отвернулся, поправил в поставце оплывшую свечу, заодно прихватил полуосушенный кубок попа Лазаря и отставил подальше

от выпивохи. Хованский некоторое время наблюдал за царским духовником, потом стал припоминать:

– Он что-то о козлице вякал... Будто бы серой воняет... Не упомяну.

– Едет Никон, с того света спихан! – подсказал и хихикнул поп Лазарь.

– Во-от! За это и ткнул, – виноватаясь, закивал Хованский. – Может, и зря, может, на него откровение снизошло, а я обидел. Каюсь, грешен. Но вы-то как знаете? Далече брели.

– Да со слуху, княже, – сдерживая улыбку, ответил Неронов. – Народишко уже перекидывает его слова. Худо это.

– Ну, не от моей же тычины заблажил он этакое! – снова набычился Хованский. – Пойду я, с весны дома не бывал. Благодать с вами, отцы, простите, што не так.

– Бог простит, Иван, – перекрестил его Стефан. – Иди с миром, а что обидное высказал тут о Никоне, друге нашем, так то усталость да жара несусветная нудит тебя. Отдыхай.

– Я тож, извиняйте, но тож... – выпрастываясь из-за стола, начал, заплетая языком, поп Лазарь.

Стефан глазами показал на него Хованскому, князь взял попику под локоть, повел к выходу.

– В ледник его, греховодника, – посоветовал Аввакум.

Из сеней донеслось удалое:

Сера утица ества моя,
Лебедь белая невеста моя-а!

Стефан плеснул руками, укорил себя:

– Мой недогляд, вот грех-то!.. Еще в пляс пойдет!

Хованский свел Лазаря с крыльца, и тот заартачился, потянул князя под навес в прохладу. Там на соломенной подстилке и захрапел сразу, как свернулся. Князь пошел со двора по сомлевшей, податливой под подошвой гусиной траве. Во всю мочь наяривали кузнечики, все еще плавал над Боровицким холмом звон, но теперь он был благостно-ласковым, растяжным.

Из Боровицких ворот Хованский вышел на мост через Неглинную. Влево от него сонно текла, пожулькивала в бревнах плотов Москва-река, мельтешила солнечным бисером. Берега обезлюдели, только на портомойных сплотках в устье Неглинной одинокая стрелецкая жёнка с высоко подоткнутым мокрым подолом без устали истязала вальком немудреное бельё. Навстречу князю с другой стороны Неглинной из правобережной стрелецкой слободы шел, Хованский сразу узнал его, боярин Федор Ртищев, молодой, начитанный, щедрый податель христорадствующим, за что был прозван «сердечным печальником». Встретились на середине моста. Приветливоглазый Федор обнял князя, расцеловал.

– Заждался я тебя, Иван! – душевно признался он, открыто, по-детски глядя на него. – Рад видеть здоровым. Никон-то как?

– Увидишь, – пообещал Хованский, тоже довольный встречей с боярином.

– Добро-добро, – закивал Федор. – Я тебя, брат, порадую! Ух, каких певчих да монахов киевской учености вывезли мы из Печерской лавры! Сейчас они насельниками в Афанасьевском монастыре жительствоуют. И греческий язык понимают и латынь! Я школу достраиваю, учиться у них будем. Они и в справщики книг годятся, государь о том пытал их. А распев, распев-то какой у киевлян!.. Нашего куда благостней. Государь послушал – ослезился.

– Уж такая ль услада – латинянское пение? – Хованский потрепал боярина за плечо. – По мне, так мы по-своему ладом распеем, как отцы и деды... Ты к Стефану? Там все наши. Очень знатный разговор я им наладил.

– Вроде обижен чем? – участливо поинтересовался Ртищев.

– Рад я тебе, Федор, – ответил, как отгородился от долгого разговора, Хованский. – А греков-побирушек да малороссов с их угодливостью к ереси латинской не люблю. Упаси Бог! Прощай.

Тяжело топая по настланным широким плахам, князь перешел мост, миновал сторожевые рогатки слободы и направился домой, жалея, что оставил в обозе коня. Тут, в низинке, с верховья Неглинной в спину ему поддувало влажным, чуть прохладным ветерком, отложистые берега речки сохранным зеленым, цвели буйным луговым разнотравьем.

– Туманы утрешние поят травку, – вслух подумал Хованский и припомнил себя мальчонкой в ватаге одногодков, как с визгом и криком ловили выползающих на берег по мокрой от туманов траве юрких сомов. Для такой охоты с вечера притаскивали какую-нибудь пропастинку и поутру, чуть свет, начинали потеху. Сомы были большие, с гибким широким плёсом, усатые.

«Дождя бы, – глянув в широкое безоблачное небо, мысленно попросил он. – А то беда, Господи, сушь».

Никон пожаловал в хоромину Стефана уже ввечеру. Жара немного унялась, открыли окна. Вечерняя заря вырядилась красно и широко, в полнеба.

– К ветру, – предсказал он. – Еще и дождичка натянет, Бог даст.

О своей поездке в Соловки Никон уже рассказал, теперь больше расспрашивал сам. Сидел за столом на дубовой скамье, покрытой красным сукном, великотелесен, умиротворен. Был он одинок, давно уж, после смерти детишек, постриг жену в монастырь, сам постригся. Обосновавшись в Москве, любил бывать в гостеприимном доме царева духовника, чтил Стефана за ум, за великую преданность вере отеческого благочестия. Когда составилась кружок ревнителей, занял в нем достойное место. В хоромине бобыля Стефана можно было длить разговоры всю ночь. Находил он нужный тон и с умудренными годами Нероновым, и со вспыльчивым Аввакумом. Сюда частенько заглядывал и Алексей Михайлович. И не только как сын к духовному отцу и не как государь к подданным. Приходил к единомышленникам, считая себя, и справедливо, членом кружка ревнителей благочестия. Здесь он отдыхал в опрятно-простоющей, греющей душу обстановке от дел государственных, от тягостных дум, боярских жалоб, прошений. И не только. Беседуя с такими разными людьми, как Неронов, епископ Павел Коломенский, Аввакум, царь набирался мудрости, особенно у рассудительного Никона. Этот сидящий, волнуемый толковостью речей митрополит был любим им сыновьей любовью. Государь был убежден – нет неразрешимых дел, если брался за них Никон, по выражению Стефана, бел конь среброуздан. И обязательно разрешал их раньше, чем исхитренные дворцовыми интригами думные бояре.

Федора Ртищева встретили как желанного гостя, он молча прошел в красный кут и, крестясь на образа, полушепотом, будто боясь того, с чем пожаловал, произнес:

– Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Варлаама...

Сидящие потянулись к нему лицами и, кто округлив, кто сузив глаза, ждали. Ртищев не стал томить их.

– Дьяк из Патриаршего приказа у двора Житного мне встретился. – Боярин подошел к столу, но не сел. – Сказал, что вот только што чудо содеялось, как в Писании про Симеона-богоприимца... После молебна блюстителя под руки повели чернецы в трапезную отдохнуть, а он на руках у них возьми и помре. Древний же был старец. Сказывают, его во младенчестве сам святой Филипп крестил. Во как! Выходит – дождался крестного и отошел ко всеблагим. «Ныне отпускаеши раба твоего...»

Теперь все уставились на Никона, а он, пораженный не меньше их чудодейственной вестью, жамкал в руках чётки и, не мигая, вглядывался в угол на рубиновый жарок лампадки.

– Истинное чудо, – заговорил он. – Токмо не Симеоново. Там надежда в мир явилась, а тут...

Стефан поцеловал наперсный крест:

– Мощи нам в поможение.

– Да что за напасть такая? – обмахиваясь крестным знаменем, с дрожью в голосе спросил Даниил Костромской. – Ведь было же – обрели и положили в Успенье мощи святого Иова – умер патриарх Иосиф, теперь вот приобрели святого Филиппа – помре Варлаам. Вновь опростался патриарший престол. Кто теперь другой?..

На вопрос Даниила: «Кто другой?» – ответом была тягостная тишина. И не потому, что неуклюже поставленный вопрос можно было истолковать и так – кто теперь следующий покойник? Молчали, понимая, что протопоп говорит о другом, грядущем патриархе, молчали, зная, что новый патриарх здесь, с ними делит скромную трапезу. Еще задолго до возвращения Никона из Соловков, сразу после успения Иосифа, этот вопрос задал братии царь. На слуху было три имени кандидатов – митрополита Никона, Корнелия и протопопа Стефана Вонифатьева. Но Корнелий и Стефан отказались, хотя братия настаивала, хотела иметь патриархом Стефана. Однако духовный отец царя яснее всех видел, кто на примете у государя. И как человек мудрый скромно отошел в сторонку, объясняя свою несговорчивость немочью, застарелой грудной хворью, что было правдой. Что его не переубедить, братия знала, потому не настаивала, тем более что Никон был человеком их кружка, крутой ревнитель церковного благочестия, «собинным» другом государя и всей женской половины дворца. Уповали на него, митрополита, надеясь, что при поддержке царя и братии этот волевой человек восстановит прежние, строгие церковные порядки, вернёт их, полузабытые, в народ, который отныне будет под постоянным и бдительным надзором строгого пастыря.

Ратуя за это, Стефан еще в выборное воскресенье 1649 года, когда осторожный патриарх Иосиф и находившиеся в Москве епископы после службы собрались во дворце в средней палате для представления молодому государю, выступил против них с обличительной речью. Царь еще не вышел к Священному собору, а Стефан уже сжёг их гневной речью, виня за то, что в Московском государстве не стало церкви Божией, все пастыри с патриархом – губители, а не ревнители благочестия, не отцы благочинные, а волки блохочинные, грызущие православие. Еще и похлеще слова употребил. Духовник государя мог себе и не такое позволить.

Патриарх Иосиф тогда же и пожаловался царю, подводя Стефана под суд по первой статье только что принятого Соборного уложения, гласящей: «богохульника, обличив, казнити и сжечь». Однако государь ответил: «Не Богу хула его». Хоть и негодуя, но тайно патриарх и весь собор покорились Стефану и братии, состоящей в основном из сельских протопопов. Им, проповедующим слово Божие в глубинке России, как никому, было видно общее падение христианских нравов в народе.

Над дверью в хоромину снова нежно тилинькнул колоколец, и порог осторожно перешагнул Герасим, младший брат Аввакума, служащий псаломщиком в крестовом чине у царевен в верхах. В строгой ряске, в плотно надетой на голове скуфье, с едва испачкавшими верхнюю губу усиками, он мало походил на брата, ростом был невысок и в костях тонок. Глядя на стоящих под образами и старательно, в голос, молящихся отцов, Герасим тихо, не помешать бы, прокрался к Аввакуму, тронул брата за локоть. Тот склонился к нему, отвернул от уха намавленную завесь волос, шепнул:

– Сказывай, братец.

– Царь-батюшка Никона со Стефаном звать изволил, – прошелестел он. – По переходам идти велено. Благослови, отче.

Аввакум погладил его по плечу, отстранил к двери.

– Иди с Богом, – шепнул. – Кончим херувимскую – и пойдут. Скоро.

Прошедшую накануне встречи мощей страстотерпца Филиппа ночь Алексей Михайлович провел скверно, почти без сна. Сказалось напряжение последней недели: плохие вести с

польской границы, из-за пустяка сущего впервые накричал на Долгорукого, большого боярина, князя, главу приказа Сыскных дел, а тут еще старец, нищий уродец, выпал из верхних окон царского дворца и захлестнулся насмерть. А грех от смертки его на царе – ведь просился же, бедненький, на Афон, надо бы и отпустить с оказией, да пожалел немощного – пускай доживает свой век в тепле и сытости с другими такими же усердный труженик молитв. Крепким был за царский дом заступником-богомольцем.

Поджидая Вонифатьева с Никоном, царь сидел в своем кабинете за столиком у окна в удобном, обитом малиновым бархатом кресле, покоя ноги в мягких туфлях на низенькой, бархатной же, скамеечке. Одет был по-домашнему – в легком, из зеленой тафты халате, опоясанном голубым кушачком с серебряной пряжкой, простоволос. Справа сквозь слюду, забранную в свинцовые переплётинки, горела от света вечерней зари арочная оконница, испятнав радужными бликами молодое лицо Алексея Михайловича. За высокой спинкой кресла на стене, над головой государя, распластал крылья искусно изображенный двуглавый орел, которого по бокам охраняли два зверя с круто изогнутыми хлёткими хвостами и поднятыми для страшного удара когтистыми лапами. Сводчатые стены и роспись на них были приглушены полутьной, округлая печь отсвечивала радостной росписью изразцов. Было покойно и хорошо. Государь любил этот час: уходил еще один данный Богом день, в тишину кабинета неприметно вливался вечер, в его прохладе яснее думалось. Было еще светло, и он не звал принести свечу.

Теперь он перечитывал любезную сердцу грамоту иерусалимского патриарха Паисия, давнего знакомца. После многословного приветствия, жалоб и просьб о вспомощении на нужды церкви Христовой, томящейся под ярмом богопротивных агарян, были те самые, лстящие самолюбию Алексея Михайловича слова:

«...И мы, порабощенные турками греки, имеем в царе русском столп твердый и утверждение в вере и помощника в бедах и прибежище нам и освобождение. И мы желаем государю, чтобы Бог распространил его царство от моря и до моря и до конца вселенной. И пусть благочестивое твое царство возвратит и соберет воедино все стадо Христово, а тебе быти на вселенной царем и самодержцем христианским и воссияти тебе яко солнцу посреди звезд. А брату моему и сослужителю, господину светлейшему Иосифу патриарху Московскому и всея Руси, освещать от махметовой скверны соборную апостольскую церковь – Константинопольскую Софию – премудрость Божию...»

«Не пришлось Иосифу освещать Софию, далече еще до того дня, – думал Алексей Михайлович. – На своей земле навести бы порядок, где уж тут «воссияти яко солнцу».

Царь спрятал грамоту в ларец, вынул другую и стал читать только что доставленную ему многотревожную правду о положении дел в запущенной Иосифом церковной жизни. Таких посланий, не надеясь на дряхлого патриарха, слали ему каждодневно по несколько.

«Учини, государь, свой указ, чтоб по преданию святых апостолов истинно славился Бог, чтобы церкви Божии в лености и небрежении не разорились до конца, а нам бы в неисправлении и в оскудении веры не погибнуть. И вели, государь, как надобно петь часы и вечерни в пост Великий, а то неистовствуют в церквах шпыни и прокураты, мутят веру. И о игрищах бесовских дай свои государевы грамоты».

«Вот уж и за патриарха дела решать досталось! – с раздражением, в который раз за последнее время, подумал Алексей Михайлович. – Никона! Немедля Никона ставить в святители, да своими митрополитами! Недосуг звать да ждать приезда греческих иерархов».

Чел далее: «А попы и причт пьянством омраченные, вскочут безобразно в церковь и начинают отправлять церковные службы без соблюдения устава и правил. Стараясь скорее закончить службу – раздирают книгу на части и поют зараз в пять-шесть голосов из разных мест всяк свое, делая богослужение непонятным для народа, который потому ничему не научается. В церквах чинят безобразия, особенно знатные и сильные, а священники не то чтобы унять

их – потокают им! Великое нестроение, государь, на Руси! Прежде такого бывало разве что во время самозванское».

Царь гневно пристукнул кулаком, ларец подпрыгнул, клацнув крышкой.

– Да что же это за пастыри такие? Именем только! – Государь бросил грамотку в ларец, прихлопнул крышкой. – Покоя ради своего, ради лени и пьянства предают души христианские на муки вечные!

Алексей Михайлович сам выстаивал долгие часы на церковных службах, в пост ел черны́й хлеб с солью и только, ценил пастырское благословение. В праздничные и святые дни, а их было много, ходил по Москве подавать милостыню из царских рук. Конечно, в местах, кои он посещал, все было благополучно, об этом старались, было кому. Выезды в святые обители, дальнюю Сергиеву Троицу обставлялись загодя: правили мостки, подсыпали и мели дороги, по обочинам толпились праздничный люд, провожая и встречая молодого царя. В провинциях он не бывал, разве что выезжал на соколиные охоты в Коломенское, но это была его, любимая им, государева вотчина, и порядок здесь был накрепко отлажен. Однако, он чувствовал это, надвигается что-то такое, от чего и оборониться как, не придумаешь. Неустроение церковное, вот что наводит страх и остуду. Об этом и Стефан – отец духовный – и вся приближенная братия говорит без опасу. Да как и не говорить – бегут пастыри из своих приходов от страха быть убиенными от пасомых. И куда бегут? В Москву! Эва сколько их на одном только Варваринском крестце топчется пропитания ради!

Государь резко дёрнул за шнурок, и над дверью припадочно забился колоколец. Тут же отпахнулась дверь, и на пороге восстал встревоженный, ожидая царского повеления, комнатный боярин с шандалом в руке.

– Цапку приведи, – попросил Алексей Михайлович.

Боярин поставил свечи на стол, вышел и скоро вернулся с болонкой на руках. Эту лохматую, диковинную для всего двора собачонку подарили английские купцы, чем очень угодили государю.

Боярин опустил болонку на пол у порога, она белым растрепанным клубком шерсти метнулась к царю, взлетела на колени и, повизгивая, трясась от радости, стала лизать лицо. Алексей Михайлович нескоро уладил ее на коленях, прикрыл глаза, будто забыл обо всем на свете. Комнатный боярин затаенно, в себя, глубоко вздохнул и вышел, опасливо притворя дверь.

Братия закончила молитву и, узнав, что государь ждёт их к себе, раздумывала недолго – с чем к нему идти.

– Ну, отцы святые, пришел час, – заговорил Стефан, строго глядя на братию загустевшими синью глазами. – Пришë-ёл!.. Немедля сладим челобитную – Никона просим в патриархи! Негоже церкви сиротствовать. Пиши, Павел, почерк у тебя ясный.

Он ушел в боковушку, где стояли его кровать и стол. В это время в хоромину явился Лазарь: чисто умытый, ладно расчесанный, будто и не был пьян час назад. Зная за ним необыкновенное умение быстро трезветь, братия встретила его добродушно. Поп опустился на колени, покаянно стукнул лобастой головой в пол, Стефан вынес обитую белым железом шкатулку, поставил перед Павлом, достал из нее два полных листа бумаги, постлал перед епископом. Не спеша, со значением, откупорил кувшинчик-чернильницу, еще пошуршал в шкатулке и выбрал лучшее, дикого гуся, очиненное перо. Братия стенкой сплотилась за спиной Павла.

– Приступай, брат, – сказал и кашлянул в кулак Стефан.

– Может, погодим... Али как? – Никон положил руку на плечо Павла. – Зачем зовет государь, не знаем, а мы тут с челобитной заявимся. Да я и не согласен без жеребья, пусть Бог укажет...

– Пиши, – подтолкнул Павла Неронов.

Никон все сделал, выражая сомнение: и руками развёл, и к иконам оборотился, ища у них пособлениа, как поступить поладнее.

– Не баско как-то, братья любезные, – мокрея глазами, пытал он одного и другого. – Приговорили, нет достойнее меня?

– Не выпрягайся, отче Никон! – забухал Аввакум. – Тебя мир хочет, а ты «не баско»!

– Господь с вами, – поклонился им Никон. – Но условие мое крепко: без жеребья – нет моего согласия. В этом деле не людям решать, а Ему одному, на него и уповать.

– А царю выбирать! – вякнул поп Лазарь. Никон мрачно поглядел на него, дивясь настырной простоте или провинциальной наглости, но тот, отвернувшись в угол и усердно шевеля губами, смиренно перебирал бобышки на шнурке-лестовке.

Павел лихо заскрипел пером, уронив набок голову и прикусив губу. Четкие строчки лесенкой покрывали лист.

– Красно выводит, – похвалил Аввакум. – Как стежкой вышивает.

– А вот и узелочек-замочек. – Павел поставил точку, потрусил на лист из песочницы, встряхнул и подал братии, скорее, Никону. Тот взял челобитную, внимательно просмотрел.

– Дельно и скромно, – похвалил Никон, подавая бумагу Стефану. – Надо в гул прочесть, чтоб не всякому про себя. Государь ждет.

Стефан прочел вслух.

– Тако ли, братья? – спросил он.

– Тако-о, – дружно возгудело в хоромине.

Стефан поставил под челобитной подпись, подождал, пока приложат руку остальные, скатал бумагу в трубочку, спрятал за пазуху однорядки, быстро, приученно приобрядил себя перед зеркалом. Никон тоже придирчиво всмотрелся в свое отображение, будто рассматривал в нем не себя, а другого, постороннего, ладонью снизу подпушил бороду и встал рядом со Стефаном под благословение епископа Павла. И остальные благословили их вслед крестным напутственным знамением.

Стемнело, попросили свечей. Сидя за широким столом в ожидании вестей, больше молчали. Тишина и темень таились по углам, лица и жесты были натянуты и скупы.

«Как на Тайной вечере», – подумал Аввакум. И сразу же всплыла другая, заставившая поежиться, мысль: «Но где тут Христос, кто Иуда?» Напугавшись явленной, аки тать в ночи, греховной мыслишки, он громко попросил сидящего рядом костромского протопопа Даниила:

– Давеча сказывал, да не досказал ты про войну свою, теперь бы как раз.

– Ну и напал я! Давай домры да сопелки, да личины козловидные ломать и утаптывать, а скоморохов тех – в шею, в шею! – продолжил, будто и не прерывался, Даниил. – Отучил от своего прихода, так оне в соседний утянулись. А там в попех был шибко зельем утруженный отец Ефим, так они ему полюбились! Сам во хмелю с харей поганой на лице христианском да с медведем в обнимку плясы расплясывает, так еще и женку с детишками к тому же нудит. Вот-ка чо там деется. Москве – куда-а!

– И ни разу из тебя уроду не делали? – засомневался поп Лазарь. – Я за каждый подвиг такой умученником пребывал, токмо что без венца. Почитай, все косточки переломаны да бечевкой связаны. Потому и в Москву прибег отдышаться. Нашего брата в самих церквах не жалуют. Стянут скуфейку и давай дуть чем попада.

– Всюду бой, – кивал Даниил. – Четырежды до смертки самой, кажись, укатывали... Как дохлятину, кинут в канаву али под забор, а сами со смехом на луг мимо церкви скачут: в ладони плесканье, задом кривлянье, ногами вихлянье, тфу-у-у!.. Дьявола тешат, о душах думать охоты нет, а игры бесовские имя, яко мед. И что подеялось с православной Русью? Вся-то она в сетях сатанинских бьется, аки муха, и нет ей в том принуждения, а своей охотой во ад путь метит!

Неронов слушал, тая в бороде горькую усмешку, поглядывал на Аввакума. Уж как того-то обхаживали в родном сельце Григорове и других, он знал. И за долгие службы, и за едино-

гласное чтение не раз кровянили, своими боками платил за принуждение ко многим земным поклонам, строгим постам, за патриаршьи пошрины. Посматривал – не заговорит ли, но протопоп молчал, горячими глазами сочувственно глядя на Даниила.

– Нестроение великое, – вздохнул Неронов. – Указ царский о единогласном пении не блюдут, что им указ! В храмах Божьих гвалт, шушуканье, детишки бегают, шалят, тут баб щупают без зазрения, те повизгивают, как сучонки. Клирошане поют, надрываются, а за гвалтом и не слышать пения. Обедни не выстаивают, уходят. У меня в Казанской такого срама нет, но чую – надвигается и сюда сором.

– Длинно, говорят, поём, – хмыкнул Даниил, – пахать надо, а тут стой, слушай цельный день. Что скажешь? Плохие мы пастыри, овец своих распустили, как собрать в стадо Христово? Их ересь дьявольская пасёт, прелести сатанинские управляют, а мы в Москву, в сугреву, бежались. Тут за живот свой не боязно, да и власть большая рядом. А ладно ли – бегать? Бог терпел... Я поутру к себе в Кострому потянусь.

– Ну и я в свой Муром подамся, – пристукнул кулаком о колено Лазарь. – А что? Как лён, трепали, а жив! Далё учну ратоборствовать с соловьями-разбойниками.

– Бог тебе в помощь, воин ты наш Аникушка, – с серьезным видом пошутил Аввакум. – Ничего не бойсь, тебя Господь наш, как тезку твоего праведника Лазаря, воскресит, коли удавят. Муромец ты наш, виноборец.

Заулыбалась, повеселела братия.

Прошел час и другой, ушедшие к царю не возвращались. Свернувший было в сторону разговор вновь вернулся к церковному нестроению. Здесь, в хоромине Стефана, сидела и ждала решения государя в основном не московская братия ревнителей древлего благочестия, а с российских окраин. Была и другая – столичная, также твердо стоящая за веру отцов и дедов, которую в Москве поддерживали куда как знатные, государевы, люди. Эта вторая группа ревнителей от своих прихожан обид почти не имела: тут, в Белокаменной, всякие приказы под боком, в том числе страшный Разбойный с Земским и Патриаршим. Зато протопопам – старшим священникам, – служащим по дальним и недалёким городам и городишкам, от заушений и пинков спасу не было. И заводилами побоищ были, как правило, сельские попы – безграмотные пьяницы и блудники.

И столичные и дальних приходов ревнители благочестия дружно прислушивались к царскому духовнику Стефану. Он и при жизни патриарха Иосифа фактически заменял его, написал и напечатал книгу «О вере», в ней признавал необходимость тщательного исправления русских книг по греческим оригиналам, доказывал – наши служебники давно подпорчены плохими переводчиками, исподволь, мало-помалу, готовил народ к непростому, взрывоопасному делу. «Муж, строящий мир церкви, – называли его, – не хитрословием силен, но простотой сердца». Однако начинать широкую реформу надо было не с сопоставления отеческих книг с греческими, не в выискивании в них расхожестей в отдельных малозначащих словах, что, в общем, не нарушало обряда, а в первую очередь с причта московских церквей, одновременно приводя в беспрекословный порядок и все остальные епархии и приходы обширной России. И Стефан настойчиво добивался своего. Битых, изгнанных из городских и сельских церквей строгих священников он на время пристроил рядом с собой, произвёл близких ему в протопопы, чтобы их, молодых и деятельных воинов церкви, послать на подвиг духовный в такие буйные городки, как Юрьевец-Повольской, Муром или куда похлеще. Митрополита или епископа в такую глушь и страсть не направишь – года не те, а и попривыкли, смирились с упадком нравов: о покое мирском и покое вечном их думы.

Вошел в хоромину сторож Благовещенской церкви Ондрей Сомойлов с известием, что по переходам возвращаются Никон со Стефаном и вроде бы шибко довольные чем-то. Тут и они явились. Братия навострилась, вопрошая цепкими взглядами – о чем хорошо сказал

им государь, с чем пожаловали такие бодрые? Кто привстал со скамьи, кто остался сидеть, но такой тишиной встретили посланцев, что ни свеча не дрогнула на столе, не всколебнулся малый огонек в лампадке. Как умерла братия, как не дышала.

– Отцы мои! – громко, не скрывая радости, заговорил Стефан. – Содеялось, как мы приговорили, а государь приказал! Он доволен нашему радению о нуждах царства. – Тут голос его вознёсся, слеза в нем взрыднула. – Брату нашему! Никону! Быть в патриархах. На то воля Божья и честь царская!

Бурно восприняла братия эту весть, от души и сердца здравила Никона волей царевой, а он уже не смущался, принимал поздравления как должное, с великопастырским благожелательством. Уж кто там другой, а он знал, каков будет выбор собора, а что до жребия... Не будет жеребьёвки. Всякий другой не отважится стяжать престол патриарший.

По такому великому делу Стефан – постник и трезвенник – велел доставить жбан взварного монастырского меду да ведро сбитня с имбирем да хмелем. Далеко за полночь завершили братскую трапезу. В конце ее Никон въяве дал почувствовать о своем праве и силе поучать и наставлять отныне всякого. Потому-то и высказал напоследок:

– До соборного рукоположения моего в патриархи, если то Богу угодно будет, ждать время есть, но нету его на бездействие. Потому, братья, ополчайтесь, не мешкая ни дня, всякий в свой приход. Утверждайте неусыпно свет правды Христовой, не пугайтесь хулы и мучений. Запущенные церковные подати возместить скоро, за это спрос будет особый. В Москву не сбегать, любезные, не пуцу. И завтра же всех попов с Варваринского крестца и других толкучих сборищ прогону в шею к их пастве, к овцам брошенным! И всем нам наказ. – Никон взял книгу Соборного уложения и, отодвинув ее от глаз подальше по причине дальновидности, прочел: – «В братолюбии будьте друг с другом как родные, каждый считай другого более достойным чести. В усердии не ослабевайте, пламенейте духом, Господу служа, радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в скорби, в молитве постоянны, заботьтесь о странноприимстве». Так наставляют святые отцы. – Он прикрыл сияющие глаза, минуту постоял в раздумье и вдруг острым, проникающим в душу взглядом уперся в притихшую братию. Медленно, как присягая, поднял руку и выговорил от себя выношенную годами многотрудной службы истину: – Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. С собою будьте в вечном единомыслии, не высокоумствуйте, но за смиренными следуйте! – Тут голос его напрягся, в глазах проблеснула слеза. – Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте! Не воздавайте злом за зло, не мстите за себя, возлюбленные, оставьте место гневу Божьему, ибо им сказано: «Мне отмщение и аз воздам»!

Он положил книгу на край стола, перекрестился на мерцающие в слабом свете лампадки серебряные оклады икон, поник покорно пред ними головой, простёганной прядями густых седеющих волос. Руки заученно передвигали граненые бусины четок, отмечая число прочитанных мысленно молитв, быстро шевелились распущенные губы, подрагивала роскошно выхолощенная борода.

– Голодного врага твоего накорми, жаждущего врага твоего напои, – в тишине продолжил Аввакум. – Ибо, так поступая, ты собираешь горящие уголья на голову его в День Гнева. Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром. Если ты – дерево, то не возносишься над ветвями, знай – не ты корень носишь, но корень тебя.

– Аминь, – повернув к нему голову, строго заключил Никон. – Изрядно начитан ты, Аввакум – послание апостола Павла в памяти держишь... Скажу при братии – государь настоятеля дворцовой церкви Спаса на бору приглядывает. Что бы тебе не принять на себя место сие? Всякий день при царе, патриарх рядом, а грамотеи нужны будут. Скоро. Али в Юрьевец на страсти воротиться рад?

Аввакум поклонился:

– По твоему слову, владыко.

– Оно и добро! – кивнул Никон. – Другого ответа не ждал. Поезжай. От государя к воеводам указ о строгостях готов, вам в спомощение... Благословляю вас, братья милые, на неусыпный подвиг. Замутилось благочестие на просторах российских, заквасилось еретичеством, спасайте истинную веру и сами спасётесь по слову апостола: «Или не знаете, что даже малая закваска заквашивает всё тесто? Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, празднуйте не со старой закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Благословляю всех и прошу вашего благословения.

Он перекрестил предстоящих: широкие рукава мантии в широком же крестоблагословении опажули лица внемлющих, всколебали язычки свечей, повалили их набок, но они не погасли – пыхнули дымком и выпрямились.

– Прощайте!

Из Кремля на Красную площадь братия вышла дружной ватагой, воодушевленная своим причастием к царскому выбору патриарха. Да какого – из своих! Друга и единомышленника, смелого и твердого в вере. Быть порядку на Руси, да как и не быть с таким пастырем.

У Фроловских ворот с ликом Спаса в темном киоте над входом простились, обнялись, как ратники перед сечей, облобызались по-братски. Аввакум с Иваном Нероновым пошли наискосок через площадь в Казанскую церковь. Надо было к близкому уже утру успеть собраться Аввакуму в свой Юрьевец-Повольской, где ждала его осиротевшая, чудной красоты, деревянная соборная церковь во имя Покрова Богородицы, да еще десять подначальных церквей, да два небольших мужских монастыря с двумя такими же девичьими. Хоронился невеликий Юрьевец за каменной стеной да копаным рвом. Волжский торговый городок, каких много на русской земле. И семья там ждала, Марковна, жена богоданная, с ребятишками.

Рано светает в июле. Еще солнышко не выставило лысину, а уж померкли и утонули в сини небесной минутой назад яркие, колючие звезды. От двора Неронова, что стоял близко к светлой Язуе, Аввакум отправился на подводе с напросившимся Даниилом Костромским к реке Клязьме. Перед отправкой Неронов в домашней церквушке отслужил молебен святому Николе Угоднику, скорому помощнику всем странствующим. Обнялись на прощанье, утерли слезу, крест-накрест охлопали друг друга на дорожку крепкими объятьями, и подвода – «с Богом!» – выкатилась со двора.

От Москвы до кривой луки изгиба Клязьмы не так уж и далеко: какой конь попадетя. Уже к вечеру Аввакум расплатился с подвозчиком, на берегу сторговался с хозяином плоскодонной лодьи, огрузшей под тюками с товаром, сплавиться с ним до Нижнего Новгорода. Договорились полюбовно так: если до впадения Клязьмы в Оку плоскодонка сядет на мель, да, не приведи бог, не единожды, а стягивать ее с отмелей – труд адский, то хозяин и одну деньгу со святых отцов не возьмет. Ежели проплывут и не зацепятся – по деньге в день с бороды.

По Клязьме, тихой и сонной в верхнем течении, где под парусом, где на вёслах скользила лодья вдоль низких берегов, заросших красноталом и камышом. И редкие деревеньки, и заливные луга в пестроте цветов с разномастными буренками на траве-мураве, и ленивые всплески рыбин, и круги на воде слезным удушьем измывали сердце Аввакума. «Всего-то у него, Света нашего, припасено для человеков», – растроганно думалось ему. Ни хозяин лодьи, ни Даниил не были шибко разговорчивы, и это было хорошо. Протопоп Даниил, тот и всегда был молчун, пока дело не касалось обрядности или разночтения греческих книг с отечественными. А правка отеческих книг по греческим образцам началась давно, еще при патриархе Иосифе под присмотром Стефана Вонифатьева и пристальным вниманием государя. Правка шла ни шатко ни валко, почти не касаясь догматов православия. За этим строго следила братия ревнителей древнего благочестия, готовая живот положить за «единый аз в старопечатных книгах». Она мирилась, пока исправлению подлежали слова, не меняющие смысла, перенос запятых, точек. И все же один из них, Неронов, противился всяческой правке, считая такое вмешательство в священные тексты делом богопротивным, доказывая, что Русь – единственная хранитель-

ница неповрежденного православия, которое давно замутилось у плененных турками греков – «испроказилось безбожной махметовой прелестью». Это грекам надо выправлять свои служебники по нашим, горячился он, Москва после падения Константинополя вступила на место третьего Рима, а четвертому не бывать! Неронов и на постоянные наезды в Москву греческих иерархов смотрел с неудовольствием, ворча: «Нищим как не подать, тоже христиане, поди, только пошто везут и везут к нам мощи святых угодников, хитоны мучеников, гвозди многие. И ведь не так себе, не бескорыстным подношением, а за мзду! По-христиански ли это? Канючат подаяния на церкви, на прокорм насельникам монастырским, а царь наш тишайший – пожалуйте. А они ему опять за это палец подносят, а то и всю руку святого или щепу от креста Господня. Как не взять?.. А уж давно по всем церквам и соборам не счесть мощей этих, что, прости господи, досадно и в размышления греховные вводит. Подумать страшно – Иоанна Богослова пальцев с полусотни по Руси обретается. А это уму загадка – многорук был Иоанн или многоперстен? Грех и подумать тако, не токмо промышлять сим».

Во время патриарха Иосифа в кружке ревнителей вслед за Нероновым об этих подношениях заговаривали многие, а поп Лазарь по своей простоте бойкой как-то спросил:

– А сколь пуговок обреталось на хитоне Царицы Небесной, знаете? Чаю, не знаете и никто не знает и не узнает, потому как уж все до единой пооборвали да развезли-раздали. Тыщи их по церквам, по монастырям. Вот потщится Матерь Божия в земном своем наряде явиться нам, грешным, а чем застегнуться ей, Богородице? Нетути чем! Пошто так творят?

Никон тогда ему ответил, горячась:

– А сколько ни обрывай пуговиц или пальцев, а то и голов самих – все не избудут. Не ума человека дело сие. Однако же сказать грекам надобно – хватит тревожить святых-то, довольно у нас мощей, себе малость какую оставьте. И деньги перестать давать за это!..

Дул над Клязьмой попутный ветерок, полнил парус, он грудью лебедя напирал на пространство, путь заметно сокращался, и до впадения Клязьмы в Оку, а там Окой в Волгу – дни считай, не сбивайся. Не заметишь, как и Нижний Новгород зазолотится куполами, крестами замерцает, благодать. Песчаные мели пока миловали лодью, приставали к берегу только похлебку сварганить, плыли и ночью меж осиянных лунной пылью разложистых берегов, в безветрие помогали лодчику – садились за вёсла. Аввакум греб умело и мощно – волжанин. Стараился по мере сил и костромской Даниил. Погожие дни умучивали зноем и стеклянно-синим звоном небес. Звон тонко ныл в ушах, от него соловели глаза, сваливалась, моталась по потной груди лохматая голова. Пригоршня забортной воды, окатив лицо, ненадолго смывала тягостный морок, вода была перегретой, и все начиналось сызнава.

Иногда в дальнем заокоемье начинали выпирать кипящие снежной пеной облака, громоздились куполами, в них отрадой начинало ярко помелькивать, по-стариковски, незлобно поварчивал гром – и только. К вечеру солнце садилось по блеклому небу за ясный горизонт – без алых полотнищ зари: просто нестерпимый для глаз оранжевый бус опутывал солнце и оно ныряло за край земли. Сразу наплывала египетская темь, яркие от лохматых лучей, густо пятнали небо мигливые звезды, а над сгнувшейся во тьме речной поймой неслись, пугая, рыдающие вопли болотной выпи.

Лежа на тюках с прошлогодним льном – длиннопрядным и вычесанным, Аввакум дремал под плеск весел, под ласковое бормотанье воды под днищем, и в полусне тонком как-то незаметно раздвинулись берега, завыверкивала водная ширь, и навстречу лодьи Аввакума понеслись два корабля. Паруса дивной белизны напряжены ветром, золотом блещут мачты и вёсла и щиты по бортам, а людей на тех кораблях нету, кроме кормщиков. Изумленный, привстал с ложа Аввакум, крикнул в ладони: «Чьи таки корабли?» Кормщики в ответ всяк свое: «Мой Лукин!», «Мой Лаврентиев!». Чудно слышать такое Аввакуму, кричит, не веря: «Так то была дети мои духовные! Померли давно оба!» А с проплывающих кораблей долетело сугубо и стройно: «Да вишь ты, плывут доселя!» Потер глаза Аввакум – не чудится ли, а глядь – тре-

тий корабль плывет, да так уж пестро-то изукрашен: и красно, и бело, и синё, и темно, но ни золотишки в нем не проблескивает, вёсла черные буруном воду грудят. И кормщик с лицом светлым, но строгим на корме стоит, правит, да прямо на Аввакума, вроде давить хочет. «Чей корабль?!» – испуганно вопит протопоп. «А твой! – долетело в ответ. – Плавай на нём с женой и детьми, коли докучаешь!»

И мимо, рядом совсем прошел, удаляется, удаляется, и вот уж не вёсла многие по бокам плещут, а крылья яркие – в очах от них красно – воду жемчугом катаным далеко по сторонам отряхивают, а корабль – и не корабль вовсе, а птица нездешняя лапами шлепает по реке, убегает и вдруг взялась с воды оранжевохвостым петухом и, роняя огненные перья, пропала в зените, оставив резь в глазах Аввакума да полуумершее в груди от невыносимой скорби, заплаканное сердце.

– Ревёшь-то, брат, почо? – тормошил его Даниил. – Каки корабли снились?

С глазами, утонувшими в слезах, сидел Аввакум на тюках, сглатывал и не мог проглотить тугой комок, расперший горло.

– Вещие, Данилушко, кораблишки те, – не сразу ответил он, давясь и всхлипывая. – Вот не помянул в зауспокойной чад духовных, они и наведались. Ведь Лука с Лаврентием меня и домашних моих много лет молитвами спасали. И скончались богоугодне. Помолимся за них, брате.

* * *

На пятый день плаванья заметно раздвинулись берега, образуя широкую пойму с высокой правобережной террасой.

– Половина пути, – оповестил кормщик. – Тут ему середка. От Володимира пойдет вторая. Да вот он, батюшка!

Над береговой кручей, кипя солнечной ярью, плыли по небу золотые купола пятиглавого Успенского собора. Они двоились и раскачивались в исходящем от земли сизом мареве, будто баюкали мощи своего строителя – великого князя Андрея Боголюбского. Неподалеку от него бдящим стражем красоты храма парил белокаменный столп Дмитриевского собора. Все это, как обручем, охватывалось краснокаменной стеной и уцелевшими развалинами грозного когда-то Козлового вала, упокоившего у своих подошв многие тумыны «бича Божьего» – Субудай Багатура.

Аввакум не бывал во Владимире. Теперь, медленно проплывая мимо, дивился вознесенному над поймой Клязьмы осиянному солнцем и синью небесной щедрому великолепию. И Даниил промаргивался, молитвенно прижав к груди руки. Взглядывал на протопопов кормщик, старожил этих мест, улыбался, хитро подмигивал озорным глазом, мол, знай наших, володимирических! Еще не одно чудо чудное удивит очи и сладкой занозиной станет жить в сердце.

И вот у слияния Клязьмы с Нерлью, на рукотворном холме, на изумрудной траве-мураве сном-наваждением явился и заполонил душу златомаковкий храм Покрова Пресвятой Богородицы. И чудилось онемевшему от вышней лепоты Аввакуму – не храм земной перед ним, а белая ангела ручонка выпросталась из холма и пальцем в золотом наперстке ласково указывает на небесную обитель Покровительницы земли Русской.

Пристань вблизи храма жила обычной суетной жизнью. Со спущенными парусами стояли огрузшие под товаром большие и малые суда, щетинились мачтами, по сходням бегали грузчики, таскали на спинах громадные тюки, ящики, связки шкур, катили бочки. Тут же кучился разношерстный люд, много было купцов иноземных. Еще не торговый, но характерный гул встретил лодию Аввакума. Причалили к бревенчатой стенке, увязались расчалками за железные кольца.

– Идите, отцы, – сказал кормщик. – Вижу, не терпится. В первый раз и со мною такое было. Идите, а я кашу варить стану. До вечера далеко, насмотритесь. А в ночь поплывём. Тут не мой торг. Мой в Костроме, по обету.

Народу на берегу было много. Возбуждённые подторжьем, толпились купцы, скупщики приценивались к товару, спорили, махали руками. Обходя их, протопопы прямо от воды вошли по белокаменным ступеням широкой лестницы на площадку перед храмом. Тут, шепча молитвы, крестясь и кланясь, долго не вставали с колен. Первым поднялся Даниил. На лицо его падали белые блики от стен сияющего на солнце Покрова, и протопоп стоял бледный, щурясь от яркого света. Стоял недолго, знал – нескоро дождётся Аввакума. Один пошёл в распахнутые настежь высокие двери.

Аввакум так и стоял на коленях. Опустив руки, замороженно смотрел перед собою, не смея отвести взгляд от несказанной красоты. Думал – встань, войди внутрь, окажись среди обычной утвари, как во всякой другой церкви, и его покинет чувство благорастворенности в явленном ему чуде. Как сквозь туман, взирал он на полукружия окон и входов, на певучие линии закомар и в каждом своде видел небесный, прикрывший землю со всем сущим на ней. Из центральных закомар строго всматривался в него псалмопевец царь Давид, и протопопу вьяве слышался чарующий голос. Околдованный небесным пением Аввакум окаменел, как и те диковинные звери и птицы, окружившие Давида. Но пение обволакивало, и он чувствовал, как теряет тяжесть и плывет куда-то, плывет. Постепенно в сознание проник другой голос и вкрадчиво-ласково, в то же время и властно о чем-то просил, как требовал. Избавляясь от него, как от назойливого комариного зудения, Аввакум сонно возил по груди бородой, лениво досадуя: «Кто ты, навязался?»

– А кто отвязался! – возникая из ничего, ухмыльнулся...

– Черт? – не удивился протопоп.

Возникший обиделся:

– Весьма бестолково толкуемое в миру прозвище. Есть и другие – Дьявол, Сатана, Люцифер, Искуситель, наконец. Их много, и все они неточны. Я есть – Я. Зови меня – Ты. Я гость твой.

– Зачем ты здесь?! – недовольно выкрикнул Аввакум. – Ты помешал!

– О-о, если бы я Тогда помешал! – возникший укатил под лоб красные глаза. – Я пытался! Но Пилат был упрям и глуп. Типичный солдафон и выскочка. И Того распяли!.. К моему крайнему сожалению... Ты скрипишь зубами? Полно! Что случилось, то случилось... Ты плачешь? Очень хорошо и к месту. Хочешь увидеть, как Это было? Я сдвину время к Тому дню и часу. Мне – плюнуть.

– Хочу! – потребовал Аввакум.

– Рад услужить! – Возникший повелительно ткнул рукой в сторону храма. – Его как распяли и пригвозждают, да, пожалуй, уж и пригвоздили.

И побежал Аввакум по указанию сатаны. И не увидел на пути своем храма, а увидел на том месте гору и распятого Иисуса. С трудом протиснулся сквозь римских солдат ко кресту, мельком взглянул на обнявшую подножие столба заплаканную женщину и по не убранной еще лестнице вскарабкался вверх, выдернул гвозди и, прижав к груди обмякшее тело, прыгнул вниз, обламывая ступени. И тут же наткнулся на возникшего. Не было ни горы, ни солдат. Он опять стоял перед храмом, притиснув к груди драгоценную ношу, и до удушья плакал радостными слезами, чувствуя стук сердца спасенного им Христа.

– Славно! – расслышал он торжествующий голос. – Ты сделал то, что не удалось мне. Он станет жить среди вас и обыкновенно умрет в свое время, и вы погребете Его как равного. И не будет Вознесения, не будет второго Пришествия, которого вы так ждете, надеясь на спасение. Еще раз – славно! Мы – сотрудники.

И ужаснулся содеянному Аввакум, в сердце своем ужаснулся и разнял руки. Еще живое тело Спасителя сползло на землю, и Его не стало. Утёр от слёз лицо Аввакум и улыбнулся. И знакомый уже голос проговорил откуда-то сбоку, то ли сочувствуя, то ли осуждая:

– Вот люди!.. Им не нужен живой Христос...

Вернулся Даниил и удивленно наблюдал за Аввакумом, как тот шарит по земле руками, будто потерял что, а теперь ищет.

– Каво деешь, Аввакумушка? – видя, что друг как бы не в уме, ласково поинтересовался он.

– Обронил вот, и нету, и добро, коль нету, – как спросонья, невразумительно, объяснил Аввакум. – Морочно мне.

– Вставай, брате, – попросил Даниил и подхватил его под руку. – Напекло солнышком, вот и морочно. Эка сколь на жаре простоял.

И опять они молились и кланялись древней красе. Уже клонилось к горизонту солнце и, прощаясь, омыло белокаменное диво розовым светом, и оно заневестилось на пригорке, будто высматривало суженого. Но спряталось за край земли светило, и на потускневшей холстине неба храм погас, гляделся жемчужным, призрачным, неся над собою жаркий уголек креста. Скоро и он погас, и на землю пришла темнота. По берегам разгорались, помигивали костры, слышался приглушенный смех, невнятные выкрики. Где-то затянули однотонную песню.

Протопопы шли к своей лодии, неодобрительно поглядывая на иноземных гостей, разряженных дерзко, не по-людски: в яркие разноцветные камзолы с прорезными пуфами на рукавах, в широченные шляпы с перьями и, что особенно мерзко, щеголяли в чулках, туго обтянувших ляжки. И разговаривали они грубо и напористо, смеялись гортанно, звеня шпорами на толстенных каблуках.

– Ну, право слово – петухи! – осуждающе крутил головой Даниил. – Глянь, они и когти носят! И гребни на главах!

– Да пусть их, на посмех, петушатся – не то страшно. По мне, так оне больше на тараканов да мизгирей ходят. – Аввакум сплюнул. – Ползут отовсюду, оплели уж паутиной нашего хлебосольного царя-батюшку. И добро бы торговать только. Ан нет. Норовят учить, как нам жить в Боге. А сами лба путем перекрестить не умеют, еретики.

У ближнего костра, сидя на бочке, подвыпивший немец-купец играл на лютне. Ему, брякая оловянными кружками, хором подпевали такие же рыжие «тараканы».

– И поют, как лаются! – Аввакум остановился у костра, и те вмиг затихли, оглядывая заросшего волоснёй, с горящими глазами громадного попа.

– Что усы-то растопоршили на земле Русской, кукуйники? – пальцем погрозил на них Аввакум. – Язви вас!

– О-о, майн гот, – вздохнули у костра, выпученными глазами восхищенно провожая Аввакума. – Какой есть громкий, больш чолвек!

Кормщик был на месте, поджидал. На тагане парил кашей котел, хозяин лущил золотистого леща, отбрасывал на уголья жирные ошкурки. Они, потрескивая, скручивались, чадили духмяным дымком, набивая рот голодной слюной. Даниил присел рядом, а Аввакум с причала прыгнул в лодию. Она качнула бортами, скрипнула всеми суставами. Кормщик чертыхнулся.

– Карош, карош! – весело рявкнули купцы. – Зер гут!

Протопоп с мешочком черных сухариков вернулся к попутчикам, подал деревянную ложку Даниилу, свою обтер тряпицей.

– Ну, отче, благословляй, – попросил хозяин.

Аввакум прочел краткую молитву, и принялись дружно таскать из котла немудрёное варево.

Ночь пришла безлунной, чернильной. Погасли и упрятались в темноту последние кострища, берег угомонился, только частые всплески рыбин тревожили тишину, да тихо шепеля-

вила о чем-то своем вечная труженица-река, без усталости выглаживая песчаное ложе. Вольготно разбросав руки, спал на тюках кормщик, чмокал во сне, как нерестовый карась в камышовых плавнях, тихо молились протопопы пред створчатым бронзовым ставнем. Молились долго, будто правили всеночную. Когда брусничным соком едва подкрасился восток, растолкали хозяина. Потягиваясь и зевая, кормщик поднял парус, и с попутным ветерком, по течению, поплыли, поеживаясь от свежего утренника.

Быстро отделилась пристань, помелькали и спрятались золочёные кровли Боголюбова дворища, но долго еще белой прощальной свечечкой с огоньком-искоркой маячил Богородицын храм. И когда он скрылся за далью, Аввакум все еще видел его другими, чудесными, глазами затосковавшей души.

Изрядно обмелевшая к середине лета река Ока поджидала их свежей погодой: дул тугой, с наскаками, ветер, из припавших низко к Оке туч вкривь и вкось секло вымоленным дождем, парус намок, мокро хлопал под порывами ветра, и от каждого хлопка сеялся серебряный бус. Поначалу мелкие волнушки только измяли гладь реки, но скоро выстроились взъерошенными грядками, перекачивались, подминая одна другую, вспенивая кружево на крутых горбинах.

Тюки со льном прикрыли плотными рогожами. Дождь полоскал их, и они тихо сияли золотыми ризами. Аввакум, радуясь по-дитячь, гладил их ладонью, смеялся. Его намокшая грива моталась, из слипшейся клином бороды выщевивалась светлая струйка.

– С праздником плаве-ом! – тоже радуясь дождю, свежему ветру, неожиданно высоким голосом запел Даниил, запрокинув к тучам лицо, крестясь и сглатывая дождемки. – Ангелы Господни, с небес взрящите на нас, ра-а-дых!

Гольый по пояс хозяин лодии трудно ворочал кормовым веслом, противясь мощному насаду волн. Тоже возбуждённый свежим ветром и дождем, он озорно подмигнул Аввакуму и поддержал просьбу Даниила разбойничьим ором:

– О-го-го-о! Аньделы-ы! Взрящите-е!

Промокший до нитки Аввакум хохотал, встряхивался, как водяной. Даниил катался по тюкам, дрыгал ногами. Не разумея их бурного веселья, кормщик смущенно взглядывал на попутчиков, сам такой же густозолотистый, как его рогожки, но тоже подпрыгивал на тюке, открыв губастый рот и густо гыкая.

– О-ой, беда-а! – басил Аввакум. – Грешим не ведая!

Ока вынесла лодию в Волгу, почерневшую от дождя, неприветливую. Однако ветер здесь дул слабее, волны под дождем присмирели, а он то сникал, то приударял шумным ливнем, выглаживая воду тяжелыми шлепками.

– Каво это несёт? – Утирая мокрое в рябинах лицо, Даниил всматривался в плывущее наперез им по течению Волги смутное пятно.

Всмотрелся и Аввакум из-под ладони. Пятно приближалось, выпрастываясь из ливневой завесы, проясняясь. Вблизи него кормщик круто вывернул руль, но страшное сооружение – плот с поставленной на нем виселицей – все же шоркнуло бревнами о борт лодии.

Опутанные по рукам и ногам веревками, на перекладине низкой виселицы болтались два удавленника, уже обклёванные вороньём. Кости держались на сухожилиях и, как живые, дергались от ударов волн в бревна плота. Ничуть не страшась живых людей, на белой ключице одного висельника сидел отяжелевший от дождя и жратвы огромный ворон, нагло вперив в Аввакума неподвижно-чёрные, осоловевшие бусины глаз.

– Страсть какая! – закрестились протопопы. – Боже, буди им, грешным!

О голые черепа повешенных плющился дождь, стекал в пустые занорыши глазниц и, переполнив их, выплескивался, будто скелеты зло оплакивали свою участь. Помраченными от ужаса глазами провожали уплывающих удавленников, у одного из которых при качке плота хлопала желтозубая челюсть.

– Ка-а-ар! – перепрыгнув с плеча на дощечку с надписью дегтем «ВОР», жутко попросился ворон, и плот сгинул, как занавесился густой сетью ливня.

– Свете наш, Иусе, – шептал Аввакум, раскачиваясь на тюке. – Скорбь и теснота на душе человека, творящего зло. Как скряга, копит он на себя гнев на день гнева и суда Твоего. Каждому воздаешь Ты по делам его, ибо, любя, наказуешь...

Под парусом, притихшие после недоброй встречи, подплыли к Нижнему Новгороду, подёрнули лодию на песчаный берег, с кормы опустили якорь. Вечерело, все еще, хоть и реденький, накрапывал дождь, кое-где по обрывам и овражкам стлался туман, расчѐсанный на долгие неподвижные пряди, пофуркивая крыльями, суетливо – к вѐдру – толклись в небе галки. Из-за стен города пучились померкшие купола, где-то там зазвонили спешно, будто пожарным сполохом, но тут же затихли.

Аввакуму надо было зайти в город, увидеть доброго слугу Божьего дьякона Федора, грамотку от московского знакольца передать, да и заночевать не грех. В тепле молебн за всех странствующих отслужить. Господа поблагодарить. Позвал с собой Даниила, тот отказался, да и кормщик отсоветовал – чуть забрезжит, снимутся: ветер попутный, а прозеваешь – на вѐслах хлопать в день по версте. Это тебе не в Казань, по течению хоть в кадушке плыви.

Опять зазвонили бессмысленно и часто и смолкли.

– Уж не тебя ль за архиерея встречают? – севшим от пережитого голосом спросил Даниил, глядя на близкие ворота.

– Дрянью звонит, как на пожар, – отмахнулся Аввакум. – Пьяный небось... Благословимся, отче. Коли что, жди в Кострому.

Они перекрестили друг друга, крепко обнялись, и Аввакум, разезжая ногами в глине косогора, потащился вверх к воротам. У малого входа стоял под навесом от непогоды страж, протопоп узнал его – Луконя – так звали доброго молодца в зеленом с красными прошвами кафтане с бердышом в руках и саблей на боку. В прежние наезды в Нижний Аввакум, бывало, служил службы в местном соборе, и этот стрелец, молодой и усердный прихожанин, исповедовался у него, трудился подпевчим в церковном хоре.

– Батюшко Аввакум! – обрадовался он, выскакивая в дождь из-под навеса. – Котомку-то, котомку изволь поднести. Неладно ходить стало – полощет два дни уж. Землицу развозжало – ноги стрянут!

Аввакум уступил ему котомку с кое-какими радостями в ней детишкам-малолеткам Ивану с Прокопкой да доченьке Агриппине, да женушке Марковне.

Влево от ворот в неглубокой воронке торчала из земли стриженная ключьями голова. Скорбное место это прозывалось горожанами «колдофой», в приказных бумагах – лобным. Голов здесь не рубили, их ссекали на торгу, сюда приводили сажать в землю по шею за особо тяжкие грехи.

– За что его, бедного? – нахмурился Аввакум. – Давно смертку ждет?

– Это, батюшко, Ксения там прикопана. – Луконя наклонил серповидный бердыш в сторону ямы. – Другую ночь мается, да попустил Бог, все не помрѐт. А как стонет, сто-онет!.. Теперь, вишь, не слышать, может, и отошла.

Луконя вдруг вызверился, замахал бердышом на свору тощих собак, крадущихся вдоль крепостной стены к поживе.

– Чума-а на вас! – зарычал он и с бердышом и котомкой в руке метнулся к ошестинившейся своре.

Сжав зубы и бугря желваки на усохшем лице, Аввакум выструнился, всматриваясь в лицо страдалицы. Подбежал Луконя.

– Ее вечор бы еще сожрали! – Он ознобно передернул плечами, шмыгнув курносый носом. – Ладно, Ефрем стоял караульщиком, не попускал. И я не попускаю. Небось девка. Жалко. А уж какая ладная была сирота гулящая. Годков девятнадцати, не боле. Вишь ты –

сына боярского пихнула, не угодил ей чем-то, а он возьми и улети, да об косяк головой, да и помре. Она, бают, из Юрьевца. В Нижнем недолго покрасовалась, вкопали вот...

Слушал его Аввакум, и плавила горячая боль сердце, будто кто жамкал его раскалённой ладонью. Да уж не та ли здесь Ксенушка, красоты пагубной, русалочьей, смертки ждет? Не она ли приходила к нему на исповедь, блудной болезнью полонённая, а он, треокаянный врач, гляючи на нее, сам разболелся, жгомый похотью. Грех ей отпустил наскоро, вытолкнул из церкви и, как помешанный, с темью в глазах, прилепил к налою три свечи, возложил на них правую руку. Уж и мясом горелым завоняло и желание окаянное отступило, а он все держал руку в пламени, пока не свалился замертво.

Аввакум зорко, по-воровски, огляделся, словно испугался – не вслух ли высказал тайную память, но никого, кроме Лукони, ни рядом, ни поодаль не было. Только стремительные стрижи кромсали крыльями низкие полотнища грязных туч да взъерошенные псы, отбежавшие недалеко.

– Гляну! – решился Аввакум.

И подбежал к воронке. Навстречу ему омутами озёрными полыхнули безумные глаза Ксении. Боль и страх жили в огромных глазищах, а больше мольба на скорое разрешение от страданий.

Аввакум упал на колени и стал остервенело отгребать землю, выпрастывая деву и влаивая по-собачьи от удушливых рыданий. Слаб был протопоп на чужую беду и горе.

– Батюшко, нелепое творишь! – подбежал и присел на корточки Луконя. – С меня спрос! Как отбоярюсь?

– А ты... им... лжу... можно! – задыхаясь, рычал Аввакум. – Бог простит ты, не бойсь!.. Псы, мол, вытянули и уперли. – Он сунулся рукой в напоясную кису, показал полтину. – Бери! Свечу ослопную поставь, Христа ради, во спасение Ксенушкино. Не поскупись, Он и тебя не оставит, оборонит.

Вложил в ладонь оторопелому Луконе нежданное богатство, выдернул из норы легонькое, уже натянувшее в себя могильного хлада девичье тельце, притиснул к груди.

– Ой, да куды ты с ней такой? – ошалело глядя на деньги, зашептал Луконя.

– Знаю куды, знаю, – тоже зашептал протопоп, обтирая от грязи лицо Ксении. – В жизнь ей надо, не в могилу, рабе Господней. Не дело человеков душу живую губить. Свете наш Иисус на кресте разбойника простил, а уж какой был тать, а эта-то, заблудшенькая, не убивица в сердце своем, не воровала, себя отдавала злодеям за кус хлебушка. Магдалина тож блудницей была. Да кто без греха? Один Бог. А кто не грешил, тот Господу не моливался.

Вымазанный в глине Аввакум опять сторожко осмотрелся, легко поднялся на ноги, кивнул, прощаясь, Луконе. Тот никак не ответил, так и сидел пришибленно на корточках над опустевшей норой. Только когда протопоп, скользя и разъезжая ногами, стал спускаться к берегу, опомнился, догнал его и на ходу накинул на плечо котомку.

Даниил недоумевал – ребёнка большого или кого там несёт Аввакум, – и заторопился навстречу. Когда подбежал и разглядел – откачнулся, и руки, протянутые было поддержать, опустил: голова девки, обхватанная кое-как ножницами, втертая в сорочку глина, черничный, как у удушенника, рот объяснили ему, с какого такого места ухватил протопоп добычу. Молча шлепал за ним до лодии, там помог уместить девку под рогожку. Мрачно и тоже молча наблюдал за их вознёй кормщик.

– Отваливай, – тяжело дыша, попросил Аввакум, протягивая ему рубль. – Ночевать вам здесь негоже, а до темна далече уплывете. А мне в город надо, дело есть.

Глядя на захлюпанного грязью протопопа, кормщик сгреб с его ладони рубль, попробовал на зуб и сунул за щеку. Быстрыми перехватами веревки выдернул якорь. Протопопы навалились на нос лодии, натужились и кое-как спихнули ее – приваленную с наветренной стороны

волновым песком – на воду. Хозяин проворно настраивал парус, ветер рвал из рук полотнище, путал растяжки. Даниил забрался на тюки, смотрел на Аввакума, выжидая, что еще накажет.

– В Костроме устрой ее к настоятельнице Меланье, – строго попросил Аввакум. – Она игуменья добрая, монастырь тихий.

Даниил закивал. Аввакум, прощаясь, отогнул рогожку, глянул на Ксению. В ее распахнутых глазах зарождалась живинка, она шевелила бледными теперь губами, еле отжала их от десен и прошелестела еще не вернувшимся в жизнь голосом:

– Прости, батюшка, душа у меня худа-то худа-а, всех-то жа-а-лко...

– Пошë-ёл! – не дослушав ее, поторопил Аввакум. Отталкивая лодию подальше от берега, он забрёл в воду по пояс и стоял в ней чёрной сваей, пока парус не уловил ветра, округлился, и лодия, клонясь набок, ходко пошла вверх по Волге.

Буровя коленями воду, Аввакум выбрел на песок, устало присел на плоский, как стол, камень и сидел под дождем и ветром, исподлобья поторапливал глазами лодию. И она отдалилась, холщовый парус, застиранный дождями, помелькал белым платочком на потемневшем раздолье Волги, и густеющая сутемь зачернила его, втянула в себя, упрятала.

Быстро темнело. Намокшая одежда облепила тело и на свежем ветру холодила, как жабыя кожа, будто и не выбрался из воды, да так оно и было – дождь все еще густо сеял, но обнадеживая доброй погодой там, куда скатилось невидимое за день солнце, тоненьким лезвием прочеркнула тьму оранжевая полоска, но потешила не долго, скоро остыла, и черная полсть наглухо застегнулась по всему окоёму.

В створе ворот зажегся фонарь, бледной звездочкой маня к людям, теплу, но Аввакум не спешил к нему. С трудом стащил сапоги, вытряс из них воду с раскисшими стельками, отжал холщовые портянки. И все сидел, свесив с колен могучие руки, слушал сквозь шумок дождя вялое шевеление Волги, смертельно усталый, будто пловец с утопшего судна, обретший спасительный берег.

Деньги, с которыми так легко расстался, были не последними. Остался еще рубль с алтынном и двумя деньгами. Он пересчитал их, ссыпал в кису, упрятал за пазуху.

– Да никак Аввакум?! – окликнул знакомый голос. – Ты ли там пятнишь, отче?

– Да никак ты, Федор? – удивленно отозвался он в темноту.

Подошел дьякон Федор в накинутом на плечи пустом крапивном куле. Протопоп поднялся, стоял перед ним с портянками в руках, улыбался продрогшими губами.

– Как ты здесь? – Он качнулся к дьякону. – В темноте видишь?

Федор засмеялся, кивнул в сторону ворот.

– А ты, брат, храбё-ор, – рукавом смахнул с лица дождемки вместе с улыбкой. – Я тебя еще засветло там углядел. Всякий вечер обхожу сидельцев тюремных, их в подвалах битком, а тут особый случай – на Ксению глянуть, может, причастить тайно. Отказано ей приобщиться святых даров... Ловко ты управился. Жива?

– Успе-ел... Не осуждаешь?

– Сам откопал бы, ночи ждал.

Аввакум подхватил котомку:

– Грамотка тут для тебя.

– Это кто же вспомнил?

– Семен. Домашней церкви боярыни Федосьи Морозовой попец.

– А-а, родня дальняя. Добрый он человек. – Федор вызволил из рук Аввакума котомку. – Знаю и боярыню. Строгая молитвенница Федосья. Ну, тронем, не надобно тут зазря торчать.

Протопоп натянул сапоги на босу ногу, портянки сунул за пояс. Впритирку, плечом подпирая плечо, двинулись вверх по скользкому косогору.

– Кто там у вас дуром звонит? – дыша, как кузнечный мех, поинтересовался Аввакум.

– Да кто?.. Звонят кому не лень, а ноне сына боярского отпевали. Шибко он не люб был людишкам. Вот и звон дурной. Обыскали колокольню – никого. Тут вдругорядь сполох. Чудно-о!.. Постоим давай, отдышимся.

Постояли. Федор досказал:

– А народ доволен. Бесы, говорят, веселуются, душу родственную встречают. Срамной был человеке. За кобеля этого Ксению-то...

– Бог ему судья, – сурово предрёк Аввакум.

Кроме тихого огонька в створах городских ворот суетился другой, у самой земли, то пропадая, то оживая. Доносились невнятные голоса. Один говорил громко, с острасткой, другой отвечивал глухо и виновато.

Подошли. В порхающем свете жестяного фонаря с оплавленной сальной свечой узнали сотника Ивана Елагина, сухопарого, с утиным носом и узкими татарскими глазами. Щурясь, он поджидал их с поднятым над головой фонарем.

– А-а, дьяче Фёдор, – вглядываясь из-под отечных век, удивился он и совсем сузил глаза. – Кого это ты привел? Неужто Аввакум-батюшка пожаловал? Давненько не видались. Сказывали, ты в Москве, да при царёвом дворе, а ты вот он. Ну, рад гостю.

За спиной сотника Луконя в красном с желтыми нашвами кафтане, с широким лезвием бердыша, по которому плавали багровые блики, казался страховидным стражем огненной преисподни. Он корчил рожи, отчаянно подмигивал Аввакуму, дескать, все устроил ладом, как договорились.

– Благодарствую на добром слове, Иван, – пряча улыбку, поклонился сотнику протопоп.

– Пошто вы в хлябь этакую да в нощи, аки тати? – Елагин опустил фонарь на землю, глядел на них темными прорезьями глаз. – Теперь время стражи, в город пущать не велено, как не знаете? Это ж какие печали на долгих примчали?

– Припозднился, – добродушно прогудел Аввакум. – Домой охота, терпежу нет.

– Чудно-о! – Елагин повилял головой. – Ночью из Юрьевца тож в непогодь сбёг... Кто тебя водит в потемках? Не тот ли, с головой-ухватом?

– Тьфу на тебя! – фыркнул Аввакум. – Не заигрывай с ним, ночью его вражья стража, а не твоя. Ну-тко, окстись!

Елагин суетливо закрестился.

– Ты теперь в Нижнем начальствуешь, я верно укладываю? – спросил Аввакум. – А что в Юрьевце? К чему прибреду?

– Ворочайся с легкой душой, – успокоил сотник. – Там теперь новый воевода – Крюков. Знал его? Он в охранном полку служил у царевен. Двор твой порушенный поправил, а обидчика твоего Ивана Родионыча в железах на Москву в Разбойный приказ отволок. Радый небось?

– Помилуй его, Господи. – Аввакум перекрестился. – Вот куда ведет гордыня. Жалко человека. В Разбойном не ладят, там на дыбе ломом каленым гладят. А ты, гляжу, не жалуешь его? Ведь правду молить, дружбу с ним водил, а в ночь мою побеглую в хоромине его весело гостевал.

– То по службе было, – досадуя на себя за начатый разговор, чертыхнулся Елагин, передвигая глаза на Федора. – Ты пошто с ним, дьяче? Встречать ходил?

Федор надвинулся на сотника, вперился в него умными глазами.

– А позвали меня, – шепотом заговорил он. – Костромского купца причащать позвали. Плыл Волгой за барышом, да остался нагишом. Наши тати, новгородские, ограбили и пришибли. Далю поплыл упокойником. А батюшку Аввакума по дороге сюда встрел.

– И добро, что сошлись, а то одному-то бы мне смертка лютая, – вмешался протопоп. – Набрел на берегу на свору собачью, они там пропастинку каку-то делили – грызлись, а тут человек на них прет. Ох! И навалились. Оробел всяко, а тут Федор. Воистину – ангел спаситель.

Елагин поднял фонарь над головой, осветил их лица.

– Пропастинку? – Он недоверчиво прищурился. – Каку таку пропастинку?

– Да мало ли каку!.. Ты иди подступись к имя и глянь, – грубо посоветовал Федор. – Если не дожрали – сгадаешь, каку. Мы-то палками однимя обрружились, от орды такой отсаживаясь, а у ты небось саблюха на брюхо навешана. Ею-то способней отмахиваться!

– Многовато их развелось в Нижнем! – Аввакум хмыкнул. – Чаю, вдосыть накормляешь их, Иван.

– Дык харчую поманеньку! – щурясь на протопопа, огрубил голос сотник. – Ну а далече отсель бились-то?

– Версты две, або три, – глядя через плечо в сторону смутно шевелящейся в темноте Волги, засомневался Аввакум. – По грязище такой как узнать? Ноги путами путает.

– Да уж. – Елагин почавкал сапогами. – Ужо утром схожу, гляну.

Он поправил в фонаре свечу, матюгнулся, поплеывая на укушенные огнём пальцы.

– Ну, отцы, делать неча, пошли ночевать. А ты-ы!! – Елагин поднес кулак к носу Луконе. – Не дрыхай, раззява!

Елагин двинулся к воротам. Проходя мимо Лукони, Аввакум, довольный, что так ловко да в лад с Федором втерли в уши сотнику опасную враку, шлепнул молодца по оттопыренному заду.

– Ой! – дёрнулся Луконя. – Ведьмедь ты, батюшко.

Свет фонаря сквозь слюдяные оконца мутным пятном елозил по лывам и грязи. Дождь уже перестал, но воздух, влажный и теплый от непогоды и близкой Волги, казалось, лип к лицу мокрой паутиной. Прошли воротами, и стало еще беспросветнее. Темь глухо упеленала город. Ни хором, ни домишек видно не было, но темнота не была нежилой, Аввакум осызал ее живой, шевелящейся в самой себе. Мнилось – протяни руку и ухватишь в ней мохнатое и жуткое.

«Чур меня, не блази!» – шевелил губами протопоп, хлюпя след в след за сотником, за оранжевым пятном, и, как заплутавший в лесу, обрадовался родному и спокойному свету из низкого оконца подызбицы. Он светил ровно, и желтый лафтак света лежал на луже золотую фольгой, пока Елагин не забухал по ней сапогами, раздробил на осколки и они выплеснулись на темный закрай и пропали.

Сотник скоро остановился, протянул фонарь.

– Берите, я дома.

– Уноси, – отказался Федор. – Мы и так доплывем.

– Ну, плывите! – Сотник хохотнул и захлюпал влево и вверх по улице, прижимаясь к заплотам.

– Обьегорили службу, – шепнул дьяк. – Думаешь, поверил? Он и плут и в деле крут.

Аввакум надавил ручищей на плечо дьяка, похлопал.

– Мы душу живу спасли, чтоб Господа молила, вот что важно. Сказано – в смерти нет помятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя.

– Псалом девятый, – перекрестился Федор. – Аминь.

Довольные друг другом, толкнулись плечами и пошли к Федорову жилью.

Изба дьяка стояла в углу крепостной стены рядом с деревянной шатровой церковкой во имя Параскевы Пятницы. Изба встретила Аввакума холодным холостяцким сиротством: топчан у печи, стол со скамьёй да несколько икон с неугасимой лампадкой. Фёдор взял свечу, занял ею огоньку у лампадки, прилепил к припечку.

– Затопить бы, рухлядь просушить, да боязно, – пожаловался он, оглаживая настывшее чело печи. – Воевода накрепко запретил, горим часто. – Он повозился под топчаном, выдвинул плетенный из бересты короб. – Одежонка тут, какая ни есть, переоденемся.

Аввакум сволок с себя мокрое, кое-как облачился в Федоров азым. Дьякон сменил однорядку, мокрую одежду выкрутили, развешали где попало. Устроились за столом перед изрядной мисой холодной ухи.

Варилась она встояк – рыбка к рыбке головами вниз, по старой рыбацкой затее. Теперь, остывшая, она походила на студень. Ложками выуживали куски, клали всяк на свою дощечку.

– Важнецкая ушица из ершей, – похвалил Аввакум. – У меня на Кудме-реке ершей аухой прозывают. А уха из аухи не оттянешь и за ухи. Знатное ество, сытость до-олго держит.

– Сам неводю, – похвастал Фёдор, с улыбкой глядя на Аввакумовы ручища, по локоть выпроставшиеся из рукавов азыма.

– Весело тебе? – протопоп как мог обдернул рукава. – Ну, жмет маненько.

– Большой же ты! – покрутил головой Федор.

– Да не я большой, а ты махонькой! – гоготнул Аввакум. – Хлебай давай, помогай опрастывать.

Фёдор нехотя бродил в мисе ложкой, видно было – надоела ему рыба, пытал:

– В Москве небось едал ненашенское? Хлебец пшеничный, белый...

– Не хлебом единым, брат, – облизывая ложку, подмигнул ему Аввакум. – Но льстился, грешен. И куры рафленные пробовал, и осетры и стерляди.

– И медок стоялый боярский? – с легкой иронией наседал Федор. – Табачок турский, вина рейнские?

– С царского стола приходилось. – Протопоп отложил ложку, встал, перекрестился в угол, перевел строгие глаза на дьякона. – Рейнского не пробовал... медок пригублял, а табак... кто его курит, тот от себя Бога турит. С государем почасту беседовали, у царевен, у сестры его, Ирины Михайловны, вверху дворца службы правил. Много того было.

Ночевать хозяин постелил протопопу на полу, подкинул овчинный тулуп и подушку. Уместил бы гостя на топчане, да узок он и короток такому дядюшке.

Встали на молитву. Федор лег скоро, а протопоп долго еще шептал, метал поклоны на коленях. Тень его лохмато кидалась со стены на потолок. На поповском дворе лениво взлаивала собака, срываясь на тоскливый вой, откуда-то наярывал сверчок, потревоженный храпом Федора. Молился долго, как привык. Когда до заутрени осталось ночи с воробьиный скок, задул огарок и прикорнул под тулупом в лохматой теплыни. Какое-то время думалось о детишках, о Марковне, потом посетили мысли о Юрьевце – как там да что по церквам деется после горького его бегства? – и незаметно отошел в сон на последней думе.

И увидел себя в толпе обступивших мужиков и баб, все косматые, у многих рожки топорчатся, а страхолюдней всех поп Сила, пьяница и распута. У него рога длинные, чёрные и врас-топырку, как хват, рот красный, раззявлен и языком вихляет, а поп вертится юлой и хвостом своим бычачьим, ухватив его раздвоенным копытом, хлещет и хлещет Аввакума, визжит:

– Веселися, собор, прикатил наш сокол!

А баба его, Феклинья, вовсе и не баба, а кикимора: щёки вздула, плюет синими ошметьями, хохочет:

– Убить сучьего сына и под забор бросить!

– Убьем! – весело воеет и гогочет жуткая орава. – Податями подвенечными уморил, а нам безвенчанно жить охота! Батогами его, шелепами!

Поп Сила сорвал копытом с головы Аввакума скуфью, пляшет, размахивая ею, а сам плачет дуром, расшлепывая по сторонам вонькие лепехи.

– В скуфейке бить нельзя, – рыдает он, – а без нее – ката-ай, крещёные-е!

Больно бьют, до смерти, вот-вот кончат, а у Аввакума страх в душе и смущение: кем крещёные? Что ни дом, то Содом, что ни двор, то Гомор. Сгинь, нечистые! Свят! Свят! Крестом ограждаюсь!

И проснулся в испарине с крестом в потном кулаке, сорванном с гайтана. Как пьяный, прокрался к бадье, ковшом зачерпнул воды ипил долго запекшимися губами. «От жажды сие привиделось. Рыбка воду любит», – успокоил себя и стал на молитву.

Проснулся Федор.

– Так и не ложился? – приподняв лохматую голову с кожаного подголовника, спросил он у неистово бьющего земные поклоны протопопа и спустил ноги на пол. Аввакум выпрямился, схватился руками за поясницу. Он, и на коленях стоя, возвышался над сидящим на топчане дьяконом.

– Хватит те спать того! – скосив на Фёдора воспаленные глаза, укорил протопоп. – К заутрене пора, а церковь ваша в немоте, поп в постеле нежится. Образумься хоть ты, дьякон, как сорома нет!

Федор босиком прошлёпал к бадье, окунул руки, встряхнул ими и огладил лицо и волосы – умылся. И снова залег.

– Прости, отче, – покашливая, просипел он. – Петух в горле засел, расхворался я, да все едино всташусь. Вот чуток оклемаюсь.

– Вот и всташись. Молитву Исусову грызи неустанно, так и хворать некогда станет, – распаяясь, выговаривал Аввакум. – А ты лентяй на ночное бдение. Так уж и ества не давай окаянной плоти в день такой. Брось играть душою! Она Божий подарок, а не игрушка, чтоб покоем плотским губить ее. Ежели горло болит и голоса нет, так в сердце своем, нутром от духа радей. Сколь тебе о том еще вякать?

Дьяк поднялся и рухнул на колени рядом с протопопом.

– Ох, прости, отче! – виновато попросил он. – Про одни дрожжи не говорят трожди. Больше не огорчу.

– Вот и добро, вот и славно, – уловив ладонью ныряющую в поклонах голову дьякона и то ли поглаживая ее, то ли помогая пониже кланяться, помягчел Аввакум. – А то уж епитимью на тебя наложить хотел. Молодой ты, грамоте зело обучен, но с ленцой. Ну да мы с тобой несуразинку эту избудем. Принимаю тебя в сыны духовные... Да ты кидай поклоны, кидай, а я ворчать боле не стану, стану за тебя молитвы говорить.

Отбил положенное число поклонов Фёдор, взял руку Аввакума в свои, приложился к ней и затих. Прояснилась, а скоро и зарумянилась слюда в оконце. Аввакум начал собираться в дорогу. Фёдор завернул в холстинку куски холодной рыбы, большую горбушку хлеба, уложил и завязал котомку.

– Грамотку-то Семенову так и не прочел. – Протопоп кивнул на свиток, который еще с вечера положил на подоконце. – Может, важное что. Ну да прочтешь, как я уберусь. Сказывал тебе, нет ли, не упомяну, а строгий указ государев за его рукой уже есть. По нему и трудись, правду Божью в церквах утверждай всяко. А то глянь – солнышко встает, утро какое бравое Господь посылает, только бы и славить Его, нашего Света, а тут сонь мертвая. Не токмо благовеста не слышать, ботало коровье не брякнет. А ты отныне сын мой духовный, так уж старайся, милой, блюди неусыпно отеческое устроение.

Фёдор кивал, но какое-то сомнение морщило его лоб, спросил:

– Ты, отче, в сыны духовные меня принял, а я уж у нашего протопопа в сынах. Ладно ли эдак?

– Ладно. – Аввакум улыбнулся. – Ласковый теленочек двух маточек сосет. Чуешь, сыне, двух!

– Чую, батюшка... А у нас тут худо. Вот и звоном балуются кто попадая, ты сам слышал. А я тут, считай, почти один в поле воин. Наш пастырь, чуть что, в Москву котомится, а мне – бока подставляй. В храме три калеки, стыло в них, хоть вой, а на улицах – бой. Пьянь гуляет и разбой с распутством, – жаловался Фёдор рваным от волнения и простуды голосом. – В церковь совсем мало ходят. Брожу по дворам, увещаю, а они урсят, мол, пошто такие долгие службы

да поклонов тыща. Мы не способны, работ полон рот, пахать и сеять неможно, времени нет, да боронить, да покосничать! Как их уламывать?

– Тяжко, Федор, знаю по себе, но ты... – Аввакум показал руками. – Гни их непокорство, спасай заблудших, жалей. Теперь давай прощаться.

Он обнял Фёдора, благословил.

– Силы небесные не оставят без помощи праведника. И святой Павел на выручку тебе во всякий день. Помнишь ли?.. Согрешающих обличай везде и перед всеми, дабы другие страх имели, ибо многие уже совратились вслед сатаны. Добрые времена на подходе, сыне! Новый патриарх Никон щит нам и пример усердному служению. Ну, прощай, храни тебя Христос.

В Юрьевец-Повольской Аввакум добрался к обеду третьего дня и, не заглядывая в свою хоромину, направился к воеводской избе, стоящей неподалеку и по дороге. Встретил его ново-назначенный воевода, Денис Максимович Крюков, приземистый, на кривых крепких ногах, косая сажень в плечах, с улыбочивыми, приветливыми глазами, заросший до глаз каштановой во всю грудь бородой. Красив был Денис Максимович. Аввакум знал его по Москве, когда Крюков состоял в свите царицы Марии Ильиничны. Был веселым острословом, пользовался вниманием всей верхней половины государева двора. И бороду подстригал по приبلудшей к боярам иноземной моде. Этакое безобразие не нравилось протопопу, о чем и говорил им в глаза дерзко и поносно. И вот, поди ж ты, образумился Крюков.

Надеялся Аввакум – мог воевода уже и указ царёв получить: «Быть в строгой и скорой помочи» протопопу в его беспокойных приделах. Да и Никон обнадёжил всяческой заботой, недаром же Юрьевец входил в состав патриаршей собственности со всеми землями, дворами духовенства и пахотных людишек, обложенных многими податями. С сажени земли вносили по пяти алтын в патриаршью казну. Деньги сбегались большие, за их сбором налажен был жесткий надзор и учет. В свой последний приубег в Москву Аввакум внес денег больше, чем следовало, аж на пять рублёв и двадцать два алтына с денежкой, весьма и весьма удивив и порадовав казначея ревностным исполнением сбора общего налога. Знал бы он, ведал бы, чего стоили протопопу эти «лишние» рубли! Да, поди, и знал.

Ласково встретил воевода Аввакума: сошёл с крыльца, вежливо повёл рукой в сторону радушно распахнутой двери.

– Входи с милостью, отец протопоп, – клоня голову, с шапкой в руке, пригласил он. – Ждем который день. И с новым чином тебя поздравляем, очень им довольны. Намедни грамота государева доставилась, в ней все в точию разуказано.

– Храни тя Бог на добром слове, Денис Максимыч, – низко поклонился и Аввакум. Он не скрывал довольства, оглядывая бравого воеводу. Крюков заметно смутился, сам заулыбался и с достоинством огладил роскошную бороду.

– Эка венник знатный какой вырастил! – похвалил Аввакум. – Это ж и глянуть любо!

По тесовым широким ступеням поднялся на раздольное крыльцо под навес, подпёртый двумя витыми колоннами с увесистой тыковкой-гирькой по центру свода.

Денис Максимович шел рядом, поддерживая его под руку. Воеводой он был назначен на смену прежнего совсем недавно, но кое-что знал об отношениях протопоба со смещенным им Иваном Родионычем. Знал и о добром внимании к Аввакуму людей государева двора и духовника царя Стефана Вонифатьева. Понимал – будет ему непросто со своенравным пастырем.

Войдя в избу, Аввакум поклонялся на образа, благословил воеводу. Посидели, поговорили о том о сём. Заметив кивок воеводы, чтоб накрывали стол, решительно отказался.

– Благодарствую, Денис Максимыч. От угощенья теперь откажусь, а водицей клюквенной аль смородинной – пожалуй. – Прижал руку к сердцу. – Не изволь сердчать, воевода, деток повидать хочу, сил нету!

– Ну-у. – Крюков раскрылил руки. – Как скажешь. Была бы честь оказана.

Подали ковш студеной воды с морозцевым поверху дымком. И пока протопоп пил, обжигаясь и ухая, воевода сказывал:

– И хоромина цела, и детки с хозяйшкой, Настасьей Марковной, в здравии. Так что приступай к делам своим с Богом. Я буду наведовать, но и ты не забывай навещать. Всегда рад буду.

– Исполать на добром слове, Денис Максимыч, – поклонился Аввакум. – За дворишко, за деток, что уберег, здравия тебе и твоему дому.

– Навожу правду как умею, – ответил Крюков, но с прощальным поклоном не спешил, видно было – хочет спросить, да не смеет. Аввакум кивком подбодрил его.

– Вот бы о чем прознать не грех, – начал воевода. – Пошто Никон до сих пор не патриарх всея Руси?.. Хотя ты и не можешь знать, в дороге был, но все же?

– Как не патриарх?! – изумился Аввакум, даже голову назад откинул. – Чаю, уже патриарх!

– Да, по слухам, вроде бы отказался, – развел руками воевода. – Был здесь проездом у меня князь Петр Долгоруков, в Казань плыл по назначению, сказывал – не хочет сесть на место патриарше. Всем миром московским просили – ни в какую. Боярство на коленях стояло, сам царь... коленопреклоненно молил. Может, и не так было. Князь Петр, известно, никогда не жаловал Никона, может, и подпустил лишнее, как знать. Вона она где, Москва...

– Царь на коленях? – Аввакум, не веря, замотал головой. – Бысть такого не может. Бояре, народ, но государь!.. Брехня опасная, вот что это. Мало ли врагов у человека, вот и плетут вредное. Не верь несуразу, Максимыч, пождём.

– Пождём! – ответил, как отрубил нехороший разговор, воевода. – Прощай, Марковне кланяйся.

Уходил протопоп с воеводского дворища с лёгким сердцем, сразу и напрочь отмахнув от себя сплетню о друге Никоне. Шёл, радуясь ясному дню, отступившей тревоге за семью. Ему беззаботно, что бывало редко, верилось – грядут лучшие времена, и он, старший священник, станет их неуступным строителем, вожем.

Навстречу, громыхая, катил на телеге мужик в поярковой шляпе с трясимым лицом, в черной, ключьями, бороде. Завидев пред собой Аввакума, он испуганно натянул вожжи. Соловая лошадевка резко осадилась назад, хомут напялился ей на морду, а мужик кулём вывалился на дорогу. Но тут же вскочил, встряхнулся по-собачьи, но не пустился бежать, а замер, немоясь на протопопу ярко-карими, прокаленными похмельным угаром глазами. Ноги в холстинных, заляпанных дегтем штанах ходили ходуном, да и весь он трясся осинкой, то ли от страха, то ли с перепоя. И смех и грех было смотреть на него Аввакуму, но он видывал попа Ивана и в куда горшечем обличьи.

– Не устал лакать прелесть сатанинскую? – как-то устало проговорил он, чувствуя, как вселяется в грудь избытая ненадолго досада. – Уж ни кожи ни рожи! Сопли со слюнями развешал, что белены нажевался! Доколе чертей нянчить будешь, а-а? От службы отлучаю тя, пса вонького, и епитимью долгую налагаю!

Поп Иван подсобрался, драчливо выпятил грудь, сплюнул. Брови Аввакума мохнатыми медведями навалились на глаза. Он тяжело шевельнул ими и серым, наводящим морок взглядом удавил попа. Тот вяньгнул по-кроличьи, обмяк.

– Душа-ша скорбях-ху, – еле выдавил он изо рта с пузырями. – Клаху по-помянху.

Попец заплакал, ладонью, по-кошачьи, размазывая по лицу мокроту. И вдруг как бы отрезвел, вытянул шею и, округлив красные глаза, пальцем прицелился в Аввакума.

– Тю, страшной ихний старшой! – пальцами показал рожки, взлаял и резко скакнул вбок от дороги, выламывая ногами немыслимые фигулины.

– Ишь, какие петли выкидывает! – изумился Аввакум. – В кабаке родился, в вине крестился. Ох ты, горяшко!

Взял лошадь под уздцы, повёл к своему дому, мимо которого пылил поп Иван, диким ором всполошив семейство. Оно высыпало на улицу, выглядывало из окон и ворот – не пожар ли где или чего похуже? Марковна издали узнала Аввакума, да как и не узнать, порхнула к нему, но, подлетев, устыдилась девичьей приткости. Быстрехонько охорошила себя и с радостью на раздумянном лице, глядя из-под низко надвинутого платочка синью сияющим взором, степенно завystупала навстречу.

– Здрава, женушка, здрава! – Аввакум выпростал из повода руку и обе протянул к ней. Настасья, невысокая ростом, тоненькая, ткнулась лицом ему в подмышку, затихла малой птахой. А уж и детки-погодки мячиками катятся, повизгивают, как кутята. Нахлынули, повисли на отце. И все-то живы-ладненьки: Ивашка с Прокопкой и доча Агриппинка. А из ворот на дорогу повыскакивали домочадцы – работники и племяши, родни всякой дюжина.

После объятий и шумного галдёжа, почтительно притихшие, всем скопом втекли в хоромину. В моленной комнате отслужили благодарственный молебен. Настасья Марковна солнышком ласкательным светилась, порхая по дому и клетям. То тут, то там слышался голос ее напевный, распорядился вежливо – как надобней угодить и приветить хозяина, чем бы таким, сбереженным до времени, угостить повкуснее. А обмякший от счастья Аввакум дарил потупившимся в ожидании деткам гостинцы московские: ленты-бусы Агриппке да ей же книгу гадательную «Рафли» пророка и царя Давида. Душеустроительное чтиво для девицы, пусть набирается премудрости, пора, десятый годок живет. Ивану, старшенькому, поучение юношам Василия Кесарейского, а малыцу Прокопию листы лубяные. Очень занимательно и пригодно рассматривать их во всякие лета.

Женушке преподнес новопечатный «Домострой». В нем все уряжено, наказы и советы на каждый день и случай. Да еще плат зеленый, камчатый, весь-то алыми, смеющимися розами усыпанный, на плечи набросил и отступил, любуясь на помолодевшую жену. Протопопица засмушалась, поясно склонилась и опять упорхнула, счастливая редким счастьем. Аввакум племяшей и домочадцев не оставил без радости – орешками волошскими калеными огорстил.

А и суета в хоромине улеглась, всяк вернулся к привычному рукоделию. Аввакум вышел на крыльцо довольный, потянулся до хруста в плечах и замер: по двору, кувыряясь и сыкая кровью из перерубленных шей, подпрыгивали обезглавленные петухи, а у чурки с воткнутым в нее топором стоял, вытирая о фартук красные руки, брательник и псаломщик Евсей. Увидев Аввакума, он поклонился, скоренько похватал петухов, сунул их в бадейку и зарысил на кухню.

Аввакум глядел на петушиную голову с обескровленным, вялым гребнем, как она накачивала на глаза синие веки, зевала в смертной истоме желтым клювом и в который раз мучился душой от страха и жалости с той первой встречи со смертью, когда мальчонкой набрел на издыхающего соседского теленка. Теленок был белый-белый, лежал под забором наметенным сугробиком снега и теперь истаивал перед стоящим на коленях и горько плачущим ребенком. Теленок подёргивался, перебирал копытцами, будто бежал, напуганный, и в огромном, подернутом влажной дымкой глазу, непонимающем и покорном, парнишка видел выпуклое небо с крохотным в нем пятнышком то ли облачка, то ли голубя. С рёвом бросился в избу, ткнулся лицом в материнские колени и впервые обмер детской душенькой от сознания неминуемой смерти всего живущего. А ночью отец его, лопатищенский поп Пётр, зело ко хмелю прилежащий, направляясь по нуже во двор, опнулся впотьмах об сына, мечущего на полу поклоны, и бысть всяко удивлен старанием своо чада к слезному молению.

Из погребца поднялась Марковна с племянницей, волоча плетеный короб. Увидев Аввакума, чем-то омраченного, остановилась, вопрошающе глядя. Он перстом указал на петушьи головы, укорил.

– Постный день нонче, матушка-протопопица. Десятая седмица по Пятидесятнице. Святых мучеников князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, поминаем. «Покаяния двери отверзи нам». Аль запаматовала, постница ты моя?

Марковна стыдливо зарделась, опустила очи долу.

– По-омню, батюшко. И что завтра Успение праведной Анны, родительницы Пресвятой нашей Богородицы, по-омню, – виновато вздохнув и теребя передник, заоправдывалась протопица. – Да вишь ли – покос нонче запоздался, все дожди да дожди. Трава вымахала в твой рост. Замотай-трава. Покосчики убиваются – косу не проволоочь, вязнет в мураве, сил нет. Их ради грех на душу взяла. Посытнее б харчились.

– Вели курей в ледник скласть. Ноне рыбный день!

– Добро, Петрович, добро, – закивала Марковна. – Прости меня, нескладную.

– Бог простит, – пообещал Аввакум. – Никтоже без греха.

И пошёл со двора в свою церковь. Стояла она, ладная, на пригорке, устремив в небо позлащенную главу на стройной шатровой шее, будто на цыпочках выструнилась.

Перед распахнутыми дверьми ее томился, сойдясь тесной кучкой, весь местный причт. Были среди них попы и дьяконы всех других приходов, подвластных отныне протопопу. Быстро же прознали о возвращении протолканного ими в шею ненавистного строгостью Аввакума. Вот он, обласканный Москвой, появился к ним, да не простым попом, как прежде, а старшим. На лицах их ясно читалось – ничего ласкового не ждут. Между ними был виден и поп Иван с синюшным от запоя лицом, тихий и скорбный. Немногие прихожане, все как один знакомые Аввакуму мужики и бабы, в худой одежке, почёсываясь и вздыхая, стояли, потупившись, перед папертью, как передовой, но робкий полк на бранном поле. И он пугливо раздался перед идущим на него грозным протопопом. А он, прогибая ступени, взошел на паперть и, не останавливаясь, по ходу прихватив за предплечье попа Силу, вошел, крестясь, в церковь, стал на солею пред иконостасом. Поп Сила хоть и струхнул, но взирал на него снизу вверх дерзко, хоть и не был пьян по обычаю.

Аввакум придиричиво огляделся. Однако не узрел небрежения в соблюдении храма: все чисто вымыто и протёрто, горели, как положено и сколько надо, хорошие свечи. Протопоп шумно выдохнул, освобождая грудь от запертого в ней волнения, поднял глаза на храмовую икону.

Богоматерь смотрела на него с тихим вопрошением: в чуть приподнятых бровях и в складке между ними таились извечная грусть и внимание к просьбе души предстоящего. Аввакум опустил на колени.

– Прясная Приснодева, Мати Христа Бога, принеси молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наши! – волнуясь и унимая густоту баса, начал протопоп кондак Богородице и припал лбом к полу. – Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим! – И снова об пол. – Богородице Дево, не презри мене, грешного, требующа Твоя помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя!

Рядом поп Сила натужно гнул шею, блестя густо намащенной рыжей гривой, и с пугающей неистовостью долбил пол вспотевшим лбом.

– От всяких бед свободи нас, да зовем Ти: радуйся, Невесто Невестная!

Припал грудью к полу в последнем поклоне Аввакум да так и лежал с благостным умилением в радостно бьющемся сердце. Рядом так же распластался поп Сила и, скосив желтый глаз, сторожил протопопа. Едва Аввакум шевельнулся, он тут же подхватился, и они разом поднялись на ноги.

– Службы полные без меня правил ли? – рокотнул Аввакум.

Старше Аввакума годами поп и раньше завидовал ему и не любил за ученость, а теперь и того злее – поди-ка ты, протопоп! Потому и поглядывал косо. И на вопрос ответил без почтения:

– Аль без тебя вера скончилась? Вчорось и без тебя как надо святому Апполинарию служили. А ныне заутреню Борису и Глебу. И здря ты, Аввакумушка...

– Протопоп я!

– Вот и говорю – здря, протопоп, Ивана отлучашь. Он не хуже другого всякова. Тады уже всех гони в заштат аль куды там. Нежога так резво начинать, назад прибёгши. Ты пооглядись-ко сперва, поприслушивайся, что как и где. Ведь давнёхонько ты не было, а водицы с тех пор много утекло.

– Воде Бог велел во всякую пору течь. И течет исправно! – спокойным голосом, но твердо ответил Аввакум. – Поди-ка, отче, принеси служебник.

Сила озабоченно подвигал бровями и пошел в алтарь через боковой вход. Аввакум развернулся к народу, который все подходил и подходил, пока он молился, и теперь заполнил церковь. Нарочно долго молчал протопоп, всматривался в их лица. Он знал их всех: венчал, лечил больных, причащал и исповедовал, хоронил близких и отпевал, за многих давал поруки. Всего и не упомнишь. Бывало, вместо повитухи принимал детишек, крестил. И вот они же – мужики и бабы, науськанные расхристанными попами, укатывали его, как вражину, как когда-то их отцы – пришедших сюда польских злодеев. Теперь овцы его пасомые, виноватясь перед ним за содеянную шкоду, глядели на пастыря разноцветьем карих, васильковых, черносмординовых глаз, ослезнённых покаянной слезой, будто росой небесной омытые. А когда Аввакум воздел руки, они вразной, но дружно, со вздохами и всхлипами – прости нас, батюшко! – поверглись на колени.

– Бог простит, милые! – растроганно взирая на падший перед ним народ, заговорил Аввакум. – И вы меня, ради Света нашего, прощайте... Помолимся всем стадом Христовым на умиротворение враждующих, на умножение любви к ближним... Владыко Человеколюбче, Царю веков и Подателю благих, разрушивший вражды средостения и мир подавший роду человеческому, даруй и ныне мир рабом Твоим, вкорени в них страх Твой и друг ко другу любовь утверди. Угаси всяку распрю, отыми вся разногласия соблазны, яко Ты еси мир наш и Тебе славу возсылаем! Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!.. Восстаньте, возлюбленные, Господь с вами.

Тихо, будто скрадывая, подошел поп Сила со служебником. Аввакум взял книгу, осмотрел и разнял на четыре части. Каждую показал отдельно.

– Зрите на сие непотребство! – помолчал, наблюдая. – Впредь такому не быть! Святую книгу на части драть яко тело святое и в четыре гласа одновременно честь государь великий воспретил и патриарх наш новый Никон. Токмо единогласное чтение угодно Господу – ясное и вразумительное, – а не глумливое бухтенье нечленораздельное, яко в пьяном сборище содомном. За послушание – кара царская и отлучение от лона церкви христианской попов и дьяконов и псаломщиков, ссылка и казнение. Тому отныне бысть!

Народ слушал прилежно, при малом шевелении, будто наскучился без проповедей Аввакумовых. Поп Иван, тот никак не говорил с ними. Псалтырь учебную едва разбирал по складам, а чтобы свое из сердца пастырского исторгнуть – куда там! Вот в загулах, в хмельном мороке безобразном был зело красноречив – через букву сквернословил да блудил похабщиной. А поп Сила-Силантий был другим. И с чарочкой любился и языком острил, но, постоянно завистью мучимый, плутовал во всем безбожно. В отсутствие Аввакума самолично утвердился в старшинстве над соборной церковью и другими приходами, надеясь быть возведенным в протопопы. Как он тут духовно окормлял паству, взбунтованную им против тогда еще попа Аввакума, протопоп пока не прознал, но был уверен – худо для народа, а не своего рота. Иначе куда подевались подати, сборы многие – вечные, крестильные, погребные, всякие? В казну Патриаршего приказа за все время и копейки не притекло. Слямзил, вот куда подевались денежки. А это опять Аввакумову уму забота, как возместить потери, чтоб и людишек не взбунтовать, и самому не стоять распялену на приказном подворье на правёже немилосердном. Стаивал разок, не приведишь никому такое. Лупили по ногам, по икрам без жалости, аж голенища сапог кровью полнились, раскисли и при ходьбе чавкали по-лягушья.

Закончил долгую проповедь Аввакум, благословил прихожан и напомнил, чтоб сошлись на вечернюю службу, а там и на заутреню. Опустела церковь. Аввакум прошелся по ней, заглянул в алтарь. Там поп Сила приуговаривал нужное к вечерне, старался. Протопоп взял растерзанную книгу под мышку, чтоб склеить дома, и вышел из церкви на паперть. К удивлению, народ не разошелся по домам, а стоял внизу, поджидая.

Старик, в молодости побывавший в Нижегородском ополчении князя Пожарского, увечный под Сергиевым Посадом в дни самозванщины и смуты, много лет прослуживший церковным старостой, выдвинулся вперед.

– Батюшка! – просительно прижав к груди костлявые кулаки, обратился он, снизу глядя на Аввакума. – Изволь выслушать и рассудить. В церкви о мирском неможно вершить, так мы уж тут-ка осмелели челом бить. Вишь ты, чо у нас деется без тебя: сором по церквам и непотребство сущее. Вот таперича, как о тебе известилось, так попы суетой метут, народишко подобрали, а кто и сам пришел, Богородишну отперли, а то – на замке. Священство пьяное, аки куры раскрялась, по улицам шландает. Службы служить – куда им! Не венчают, не отпевают, деток не крестят. Пустошь и немота в храмах, уж не под Ордой ли мы?.. Прежний воевода потокач им был, а новый, он новый и есть. Не вошел... На тя уповают, кто в страхе Божьем живот свой блюдет, не попусти помереть без покаяния. А тем, кто веру Христову покинул да мимо дома Господня смехачась просакаживает, тем без строгого пастыря сплошное разговение, да креста на них нет – в кружалах в зернь проиграли и пропили. А благочестию без учительства оконечно пропасть. Теперь, кто веру крепко доржит, по домам без попов молитвует, кто как урядит. Воистину пришли дни Батыевы. Оборони нас, попов урезонь, верни нам церковь и упование на Господа!

Слушал его протопоп и клонил голову, винился за долгое отсутствие, будто своей волей покинул паству, овец своих, и тем навлек разор на церкви и души. Но уж и сам помаленьку разгорался в сердце своем. Старик все говорил, а толпу уж прорвало: шумнуло над ней, будто ветром над рощей, вздыбило кулаки и бороды – ор торгашный, знакомый. И каждый о своем, а о чем, не разобрать. Нескоро унял их Аввакум. Налаживался было вразумлять, ан нет – обдаст словом поносным мужик, баба закликухает, и опять – гвалт сорочий. Все это уже было изведено Аввакумом, помнил их и кающимися и с палками со скрытыми в них копейцами вооруженными. Своими боками помнил.

– Спади-и! – рыкнул на толпу. И притушил, умиловил голос. – И я хочу добра и уряда. Будьте мне помощники, не падайте душою под смущающих вас. Широки врата и дороги, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что узок и тесен путь во врата жизни, и немногие находят его. Но надо, братья, надо, миленькие, с молитвою и верой во спасение протискаться узкими вратами к жизни вечной. Не смущайтесь: хоть и силен враг человеческий, да все ништо: с нами Бог и крестная сила! – Аввакум плавно повел рукою на церковь. – Вот наша крепость и прибежище на всяк день.

Узколицая посадская бабенка, в застиранной телогрее, с платком, сползшим на шею, продиралась к Аввакуму, кричала:

– Деву-то мою, дочу-у!..

Сзади ее подпихивала старуха, тряскими руками пытаясь надвинуть платок ей на голову, и тоже вопила:

– Опростоволосилась прилюдно! Грех!

Протопоп поймал руку бабёнки, притянул к себе.

– Сказывай толком, что тебе? – Бросил хмурый взгляд на толпу. – А вы утишьте! – И снова бабёнке: – Какая беда твоя?

Народ поутих. За жёнку в телогрее запричитала старуха, то и дело оглядываясь, будто паслась от кого-то.

– Дак дочу ее, Ульянку, внуку мою, воевода украдом взял, как татарин, а нас изломал, чтоб не перечили! – Старуха изловчилась, надвинула платок на голову дочери по глаза, как и положено христианке пред людьми и церковью. – А с горя-то старшая моя, вот она, мать Ульянки скраденной, вишь ли – с ума стряхнулась, ну! Уж пожалуй, батюшка, внуку-ту отобери у него. Изгаляется, слышать, пропадет дева в четырнадцать годков всего!

– Так нету же прежнего воеводы, – удивился протопоп.

– Дак нету ирода, нету, – рыская головой, радостно согласилась старуха. – В жалезах на Москву свезли, как есть – свезли!

– Стоп-стоп! – не понял Аввакум. – Его свезли, а где внука?

– Дак иде? У Москву с собою узял. Бравая, как не узясти.

– Это что же, и ее оковали?.. Эй, кто знает?

Церковный староста разъяснил:

– Тута она. У приказчика бывшего воеводы обретається. Тот, кобеляка, обрюхатил ее и энтому спихнул. Одна ватага татья.

– Так-так. Выходит, здесь она. Добро, вернем деву, – пообещал Аввакум. – Всем приходь на вечерню. Многонько всякого сказывать вам стану. Теперь прощайте.

Народ дружно повалил за ограду, словно бы выкричался и все заботы спихнулись с плеч долой. «А попов не видать. Когда убрались, не заметил. И никто свечку пред образом не затеплил, – с досадой подумал протопоп. – А день воскресный – для служб и молитв. Нельзя по дому работать, ни бань топить, тем паче в корчмах время бить, а они прут долой с радостью... А это кто такая осталась? Жёнка незнаемая, не упомяну такую?»

Опрятно одетая, в тугом платке, из-под которого глядели на протопопа кроткие глаза, жёнка лет тридцати стояла с приоткрытым ртом, будто хотела и не могла вымолвить слово, сдавленная чем-то жутким, что сковало и отняло язык. Аввакум сошел к ней, перекрестил.

– Ну-ко, сердешная, отверзи свое, как на духу, – ласково подбодрил ее. – Чья ты?.. Ну-ну, красавица, не робей, пастырю можно.

– Нездешняя, батюшка, я, – едва шевеля губами и так тихо заговорила она, что протопопу пришлось наклониться и подставить ухо. – Из Казани, вдова. Муж в войске под Смоленском смертку встретил десять уж лет тому. Сынка мне оставил. Мы к Сергию Преподобному, ко Святой Троице, волочимся. Хворый шибко сынок. А Сергей, он помог бы, только б дотащить да к мощам его нетленным припасть. Да не сподобились. – Едва шевельнулась, подняла непослушную руку. – Вот он, домишко. Причастить бы сынка, помирает. Не привёл Господь к Сергию...

– Ты книжицу поддержи пока, меня пожди. – Аввакум вложил ей в руки служебник и быстро, крыля полами подрясника, взбежал по ступеням, а там в дверь церкви. Пробыл в ней мало: почти бегом, с ковчежцем со святыми дарами и скляницей святой воды, сбежал к богомолке.

– Веди, жив ли. Как звать-то? – спросил и зашагал живо из ограды по улке к избе, новокрытой золотистым драньем.

– Меня, батюшка? – семеня рядом, спотыкаясь на ровной дороге, переспросила вдовица. – Татяна я.

– Сына как?

– Лога, батюшка, Логгин!.. Страшусь, не помер ли. Долго ждала в церкви, да в ограде тож. Не смела.

– Сколь годков? – грубо, даже безжалостно, выкрикнул Аввакум.

– Ему, батюшка?.. Дак с зимы одиннадцатый.

– Не смела она! – терзал криком протопоп. – Сынка помирает, а она – «не сме-ела»!

– Ой, да некрещеный он! – взывала вдова. – Поп казанской Входеоерусалимской церкви прихода нашего окрестил было, да посередке и свалился сам беспамятно в Иордань. Пьяной был, креста на нем нету-у!

– Это на попе нету! – по-своему повернул Аввакум. – А младенец, он райская душа.

Любил детишек протопоп. За своих и чужих обмирал сердцем. Потому-то и бежал, торопился – вдруг не поздно еще, вдруг да замешкались ангелы небесные над безгрешной душенькой, не приняли, милосердные, не взялись с нею к престолу Отца Вечного.

Влетел во двор, едва не растоптав лохматый скулящий клубок щенят, ногой отпахнул дверь и свалился в избу.

Со свету не разглядеть было, кто где. Один голос заунывно живил темноту.

– От зверя бегучева,
от твари ползучева,
от лихого человека,
от ненавистова глаза,
от лютая смертыньки
помилуй, Господи, —

читала и кланялась в углу убогая божедомка. Протопоп подошел к ней и увидел на лавке мальчонку со сложенными на груди исхудавшими, цыплячьими ручонками и прислоненную к ним икону Богоматери. Взял левую руку страдальца в свои – и дрогнуло заросшее жесткой волосней лицо Аввакума: будто сосульку держал меж ладонями. Хотел растопить дыханием своим ледышку, дул горячо и мощно, да не таяла она, стала чуть волглой, но так же холодила. Горестно, с сердечным стенанием глядел он на опавшее личико, на ломкие, тусклые волосы, на сгоревшую от какой-то страшной сухоты едва начавшуюся жизнь. Подсиненные потусторонним цветом веки туго накатились на глаза, длинные и чёрные ресницы излетевшими стрелками лежали на подглазницах. И увидел Аввакум – горели свечи, но свет их был мал, и он попросил еще. В головах мальчонки утвердил поставец со свечой ярого воска. Пламя ее бросило свет на лицо, оно не дрогнуло ни единой жилкой. Несуетливый обычно Аввакум заспешил: вынул из ковчежца елей, кисточку с маслицем и стал читать отходную молитву, надеясь догнать причастными словами отлетающую душу и тем утешить ее.

– Окрестить бы его, батюшка, – качаясь на коленях перед лавкой, попросила, как поклончила, вдовица, глядя на протопопу распахнутыми отчаянием глазами с отраженными в них маленькими свечками.

– Да, жено, да, – выдавил Аввакум и глухо кашлянул раз и другой, избавляясь от сдавившей грудь и горло комковой горечи.

Из ковчежца достал склянку со святой водицей, побрызгал на лицо, обмакнул кисточку в елей и стал крестообразно помазывать ею, отгоняя мысль, что не совсем по правилам исполняет обряд, но и оправдываясь – Господь поймет и простит меня и примет новоокрещенную душу.

– Молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего Логгина немощствующа, имя носящего добросердного сотника римского, мучения Твои крестные копием своим прекратища, посети милостью Твоя и прими его во святое Твое крещение. Господи, врачевную Твою силу с небеси ниспошли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощ таящуюся, буди врач раба Твоего Логгина, воздвигни его от одра смертного цела и всесовершенна, даруй его церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою, ибо Твоя есть власть спасать и милловать, Боже наш. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!

Из ковчежца вынул медный крестик на льняном гайтане, приподнял безвольную голову, надел на шею и понял – отлетела душа чистая, преставился.

«Силы небесные, простите мя, все-то смешал воедино, – толкалось в голове Аввакума. – Господи Иисусе, ради молитв Пречистой Матери Твоея, преподобных отец наших и всех святых прими в Царствие Твое новообращенного раба Логгина, а меня, грешного, помилуй, яко есть Ты благ и человеколюбец».

Он оперся руками о края лавки, навис над усопшим парнишкой и читал, читал, как помешанный, молитву за молитвой, глядя иступленными глазами в тихое теперь лицо от покинувшей его страдальческой печати. Уже и нищая божедомка устала выть, сидела в углу, глядя на иконы. И матерь почившего, обезголосев от плача, ткнулась ничком в пол, а протопоп все еще нависал, как бы парил над лавкой, растопырив уже бесчувственные руки. И вдруг ощутил въяве неизъяснимую, птичью легкость своего тела и тут же стал медленно отдаляться все выше и дальше от мальчонки. Уже и лица его не разглядеть, и смотрит на него Аввакум со страшной высоты. И все раздвинулось вокруг протопоба в ширь неоглядную, а сам он распластался в полнеба и видит всюё-то всю землю русскую. И черным-черна она! И вся-то услана упокойниками непогребенными, вроде как белыми куколками муравьиными. И стоят тут и там над ними печальные церковки свечками незажженными. А над всем тихим и немым властный голос витает:

– Видь, Аввакум, весь мир во грехе положен!..

И страх объял и удушил протопоба. Проталкиваясь, отчаянно выдираясь из-под его тяжких камней, из петли-удавки, Аввакум шептал, покорно прося у безначальной власти сущего гласа:

– «Господи, избави мя всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия! Всади в сердце мое силу творити Твои повеления, и остави лукавые деяния и поручи блаженства Твоя! Что сотворю имени Твоему? За что вознесен сюда я, злогрешный?»

И окутал его облаком глас непрекословный:

– «Свидетельствуй! Вот скоро изолью на них ярость Мою, и буду судить их путями их. Уцелевшие будут стонать на горах, как голуби долин, каждый за свое беззаконие».

И пропал голос. Звонь взорвалась в голове и ушах Аввакума, и стал он падать вниз камнем. И вот из тумана проглянуло под ним лицо мальчонки, дрогнули веки его и затрепетали стрелки ресниц. Бледной зорькой осенней подкрасились щеки. Мотнул головой Аввакум, стряхнул покаянные слезы и разглядел две голубые проталинки, а в тех проталинках рябило, будто резвились в них рыбки золотные.

– Пи-и-ить, – попросили едва розовеющие губы.

Аввакум не сразу отпихнулся от лавки затёкшими, чужими руками и не устоял – сел на пол. Как во сне видел – мальчик приподнялся на ложе, боязливо опустил на пол ноги. Спугнутой наседкой забила в углу божедомка, закудаhtала невнятное. Протопоп, сидя, дотянулся ногой до вдовицы, толкнул.

– Татиана! – с усталой радостью оповестил он. – Встречай чадо живое.

Подхватилась от сна-обморока вдова, поползла на коленях к воскресшему, немо зевая судорожным ртом, обхватила ноги нечаемого, и он положил на её плечо слабенький стебелек ручонки. Все еще клохтая, подъездила к ним нищенка с оловянной кружицей. Аввакум приподнялся, влил в нее из скляницы святой воды и расслабленно наблюдал, как мать, трясясь и тыкаясь, ловила краем кружки губы ребенка и по оплёсочку поила его. Отрешенно, чувствуя лихоту и опустошенность, будто его выпотрошили, как рыбину, протопоп сложил в ковчежец скляницу, кисть, взял бережно поданный божедомкой служебник и пошел из избы. У порога оглянулся, наказал:

– К Сергию Преподобному идите. Теперь сможете.

Татиана, обещая, только кивала вскруженной радостью головой, а нищенка, справясь с клохтаньем, ответила за нее совсем внятно:

– Смо-огут, свет-батюшко, да и я с имя. Вот и понесем по земле, аж до лавры Печерской, до Киевской о чуде Господнем.

– Чудо и есть, – уверованно, прикрыв глаза, покивал Аввакум. Но не уходил. Смотрел на парнишку с чувством сопричастности к одному с ним безначальному таинству. И мальчик смотрел на него из материнских рук с тихим, улыбочивым смущением. И протопоп решился, спросил о тайном:

– Каво там видел, сынок?

– Табя, – шепнул парнишка, заплакал и опустил глаза. – Ты зачем меня с облака мягкого сня-ал?

– Живи-и, – попросил Аввакум и вышел.

* * *

Пока Аввакум добирался до Юрьевца-Повольского, в Москве содеялось диво-дивное: урядясь, дав согласие сесть на патриарший престол, Никон, к вящей радости бояр многих знатных фамилий, тут же пошел на попятную, чем весьма озадачил государя. Решительного и резкого на язык митрополита многие не любили и побаивались. «Выдает нас царь мордвину, мужичьему митрополиту, головой, – не особенно и скрытничая ворчали по дворцам и хоромам. – Николи прежде не бывало нам в родах такого бесчестия». Мягко просили и мягко настаивали избрать в патриархи иеромонаха Антония, дескать, старец весьма учен и учтив, да и Никон у него в Макарьевском монастыре осиливал по псалтири азы и буки, к тому же обхождением и видом благолепен, не замотай берложный какой.

Эти ворчания и просьбы, казалось, повергли в замешательство Алексея Михайловича. Поговаривали, да и очевидцы поддакивали, что ночью в покои царские был доставлен Антоний. О чем говорили они, осталось тайной, но через два дня царь назначил жеребьевку. В Крестовой палате при высоком священстве выбор пал на Антония. Но преклонный летами учитель уступил его ученику, наотрез отказавшись от патриаршества. Казалось бы, все – перенапряг Никон тетиву терпения государя, пора бы и честь знать, но упрямец митрополит продолжал парить круто замешанное им варево. Алексей Михайлович ждал.

Опять и опять присылали увещевать Никона, но тот заперся в келье Чудова монастыря, молился неделю, отговариваясь, что ждет Божьего повеления. Даже друзей своих – протопопов Неронова и духовника царёва Стефана – в келью не пустил, из-за двери буркнул: «Не досаждайте, не время бысть!» Вот и пылили, хлопая полами, взмокшие гонцы от теремного дворца до Чудова, блукая по сторонам растерянными глазами, напуганные. А малоопытный, рано осиротевший царь всея Руси Алексей Михайлович покорно ждал. Он крепко помнил слова почившего батюшки – Михаила Федоровича, сказавшего о деде Филарете: «Я, государь великий, и отец мой – светлейший патриарх и великий государь – нераздельное царское величество, тут мест нет!» Слова помнил и давно почитал Никона «в отца место». Хотел и видел в нём надёжную опору и мудрого советника-соправителя. Знал и о недовольстве своим выбором, но хранил спокойствие, пережидая затеянную Никоном блажь. Однако ж и недоумевал, пошто так долго уросит друг-отец? Недоумение волокло за собой беспокойство, и юный государь в сердце своем углядывал в упрямстве Никона тайные плутни неугожих царедворцев. А они, находясь рядом с царем, рядом с гневом и милостью его, хоронились ловко от неосторожных слов своих и дел. Казались озадаченными, отнекивались и опасно пожимали плечами. Обращал взор свой на многомудрого Матвеева, тот разводил руками. Попытал кроткими глазами дядьку своего Морозова, тот опечалил его горестным вздохом и тряской дланью многозначительно потыкал в небо, соря голубыми искрами из перстней, обхвативших пальцы.

Алексей Михайлович ждал. Выжидал и народ, каждодневно полня площади Кремля, кто по любопытству, кто по принуждению, и расходился по домам ближе к полуночи, когда бдительные стрельцы раздвигали рогатки. А уж по городу лодчонками без рулей и весел плыли-качались слухи, одни других темнее, как глубокие омуты. Государю о слухах доносили исправно. Он молчал. Одному духовнику Стефану признался:

– До слёз стало! Видит Бог – как во тьме хожу.

И опять уехал в любимое Коломенское на сердешную потеху – соколиную охоту, – где поджидали его два дикомыта, два молодых сокола, выловленные в калмыцких степях. Вернулся в Москву затемно и, просматривая накопившиеся бумаги, поведал дядьке Морозову, как один из дикомытов по кличке Угон круто взялся с руки подсокольничего Мишки Щукина и над поймой реки Москвы лихо заразил утицу.

– Молоншей сверху пал, да как мякнет по шее, так она, падая, десятью раз перекинулась! А уж как красносмотрителен высокого сокола лёт – слезу жмет!

Морозов, хоть и не уважал эту царскую забаву, внимал с почтением, не забывая подкладывать бумаги. Царь и подписывал, и рассказывал, то весело, то гневно:

– А Мишка, стервец, Щукин, возьми и огорчи. На радостях от похвалы и подарка нашего, скрадясь от глаз государевых, у ключа Дьяковского со товарищи кострище разведя, опились до безумия, и он, теперь сокольничий, свалился на уголья. Еле выхватили из пламени: волос головий обгорел и лицо вздулось, яко пузырь бычий. Она как чин новый обрящет!.. Короста спадет – пороть бесщадно пьяную неумь!

Одна бумага шибко разозлила государя. Он прихлопнул ее ладонью, как досадившую муху.

– Чёл? – спросил у распутившего в улыбке губы Морозова.

– Чёл, государь, – кивнул и обронил улыбку боярин. – Не тебе бы вникать в этакое, да кому ж, раз церковь сиротствует.

– А игумены пошто бездействуют, потатчики? – Румянец наплывал на круглое лицо государя. – Пошто в Саввином монастыре казначей Никитка бурю воздвиг на нашего стрелецкого десятника и посохом в голову зашиб?! Как посмел, вражина, оружие и зипуны, и сёдла за ограду монастырскую выместь, нашей приказной грамоте не подчинясь?..

Алексей Михайлович все более распался, жарко густел лицом:

– Ты уж, Борис Иванович, присядь да пиши, что выговаривать учну. Сам не управлюсь, эва как пальцы плясуют.

Морозов впервые видел государя таким взъерошенным, потому проворно, не по годам, отлистал от стопки несколько листов бумаги, плотно усадился на скамье и, тукнув пером в чернильницу, пал грудью на стол, растопыря локти. Он, дядька-воспитатель царя, вконец уверовал – всё! Выпорхнул из-под его крыла оперившийся птенец.

– Пиши! – Государь пристукнул кулаком по столу. – «От царя и великого князя всея большие и малые Руси, врагу Божьему и христопродавцу, разорителю чудотворцева дома и единомысленнику сатанину пронырливому злодею казначейке Никитке!..» Поспешаешь ли, Борис Иванович?

– Способляюсь, великий государь, – сквозь прикушенную усердием губу отозвался взмокший Морозов. Государь продолжал, гримасничая, с издевкой:

– «Кто тебя, сиротину, спрашивал над домом чудотворцевым да надо мною, грешным, властвовать? Тем ли ты, злодей, обесчестен, что служивые люди рядом с твоей кельей расположились? Ну, враг проклятый, гордец сатанинский! Это ж дорогого дороже, что у тебя, скота, стрельцы стоят! И у лучших тебя и честнее тебя и у митрополитов стрельцы стоят по нашему, государеву, указу. Кто тебе власть мимо архимандрита дал, что тебе мочно стало без его ведома стрельцов и мужиков моих михайловских бить? За спесь сию наряжаю тебя в железную цепь на шею и добрые на ноги кандалы! Да как прочтут пред всем вашим собором эту нашу царскую

грамоту – свести тебя в келью и запереть всекрепко. А я, грешный, молитвенно жаловаться на ты, пса, чудотворцу Савве буду и просить от тебя обороны у Бога».

Алексей Михайлович горестно выдохнул и протянул руку. Морозов торопко, но неуклюже ворохнулся на скамье, чуть не опрокинув чернильницу, встал и двумя руками, с поклоном, подал лист. Государь медлил, глядел на дядьку зыбким, нетутошным взглядом, чем очень пугал боярина. Да и было чего пугаться: частенько стал проявлять воспитанник дедовский нор. По пустяковинке сущей всплывать на дыбы, как теперь. Ну сдураковал казначей, ну послушался – прогнал от кельи настырных глядачей, а тут сразу порка злая, указ царский. Да сколь неуряду всякого по градам и весям, нешто всем никиткам ижицу пропишешь? Да все сам, за своей рукой государевой.

Алексей Михайлович взял лист, не подписал – отодвинул в сторону. Снова смотрел на дядьку, но совсем другими глазами: милостивость глядела из них, смущение, да и с пухлых щек отекала гневливая румянность.

– Вот так, все сам, раз церковь сиротствует, – встречу мыслям боярина выговорил он и совсем тихо, будто прося одолжения, попросил смиренно: – Ты уж, миленькой, перечти, поправь покладнее и отошли с кем знаешь. Жаль татя, да без встряски неможно.

Утром 22 июля Алексей Михайлович встал, как обычно, рано, и ему тотчас доложили: Никон явился в Успенский собор в окружении четырёх архимандритов править службу Колосской иконе Божьей матери, что бояре думные, окольниковичи, священство и весь двор толчется в Передней и на Красном крыльце, ждут царского уряда и милости.

– Слава Тебе Господи, владыка живота моего! – истово перекрестился государь и велел облачить себя по-положенному. Не было ни суеты, ни беготни бестолочной. Все было прибрано и уготовлено заранее. Стефан доглядывал за всем этим строго.

Когда огромной толпой, притихшей и ждущей разрешения долгой тяжбы, втекли в собор, Никон с посохом святого Петра – митрополита Московского – стоял у патриаршего трона, осунувшийся, как от тяжелой хвори, с головой и бородой, пуще прежнего застёганной серебряными нитями. Он мрачно пытал толпу воспаленными от ночных бдений и недельного строгого поста горячечными глазищами и цепкой рукой, как у беркута лапой, жамкал прорезной, моржовой кости, набалдашник посоха.

Долгая, гнетущая тишина присутулила люд. Никон медленно вздыбил бороду, глядел на толпу из-под опущенных красных век буровящим взглядом. Не благословил, не поклонился.

Полон был собор. Всякого чина люди запыжили его нутро, стояли, каменно глядя на чаемого и такого норовистого пастыря. Ждать долее стало тягостно, и боярин Хитрово опасливо, локотком, подтолкнул иеромонаха Антония, и они вдвоем выступили вперед. Надломился в хребте боярин, низко поклонился Никону, летней шапкой алого бархата с узкой собольей опушкой махнул по полу, как подмёл перед собой.

– Вольно сесть тебе на патриарха место? – густо и внятно вытрубил он. – Всем миром вопрошаем, не томи.

Антоний, сухопарый и строгий, в широкой мантии-опашнице, в клобуке с воскрыльями тож выгорбился, поддерживая горсточкой на груди медный наперсный крест.

– Владыко, – тихо, что немногие рядом расслышали, обратился он. – Доколе вдовствовать церкви русской? Хоть и знамо, что ежли Господь не хранит дом, то всеу бдит его стрегий, мы просим тебя – не пытай Божьего и людского терпения, не пустодействуй, буди пастырем нам, грешным.

Высказались и отступили впообок к царю. Никон не шелохнулся.

– Святитель! – отчаявшимся голосом выплакнул Алексей Михайлович. – Пошто сиротствуем? Видь! – пред святыми мощами, здесь почивающими, плакаем, тя умоляя, – прими власть верховную над душами чад твоих. Зачем бродят в полюдь скорбь и отчаянье?

Государь опустился на колени, вытянул руки и коснулся лбом пола. Ладони скользнули по плитам, и, резко подавшись вперед, царь распластался перед Никоном, прильнув щекой к полу. Рядом забухали на колени все, кто был в соборе, следом – кто не втиснулся в него и был на паперти, далее на Соборной и Ивановской площади.

Князь Иван Хованский скосился на стоящего рядом на коленях Федора Ртищева, шепнул, не очень осторожничая:

– Умучает внуков наших оскомина за то, что деды жрали кислое.

Ртищев боязливо заозирался – не слышал ли кто лишний, но в соборе всхлипывали, сопели, и он, укоризненно качнув головой, пал ничком на пол.

С минуту-две, зажмурясь, Никон томил народ молчанием. И много чего всякого пронеслось в памяти: и недружелюбие бояр – явное и скрытное, и лица друзей, коих тоже насобиралось немало за долгое митрополичье бдение. Лики мелькали лунными промиганиями по чешуйчатой воде, но так живо и зримо, что он ясно угадывал лица и слышал слова. Вот выпросталось из небытия и протекло хмурое лицо отца, за ним – печальное материнское, и пропало в тёмном заволочке. Дольше других застила взор кустисто заросшая личина то ли ведуна, то ли бродня, встреченного в отрочестве на берегу Волги. Даже разговор услышал, будто поддуло его из далёкого далека:

– Кто ты и какого рода? – спросил лесовик.

– Крестьянский сын я, простолюдин! – как и теперь, почуя ознобец, ящеркой юркнувший по хребтине, ответил тогда ему Никитка.

– Быть тебе великим государем, – предрёк ведун, ольховым красным посошком толоча мокрый от росы песок.

На этом видении Никон раскрыл густо-синего марева глаза, медленно, как тяжкую палицу, приподнял посох и с силой торкнул им об пол.

– Станут ли почитать меня за отца верховнейшего? – спросил, с вызовом глядя на государя, который в большом наряде золотной горкой, присыпанной жемчугом, лежал перед ним на полу.

И опять златотканое облачение не дало царю подняться. Его подхватили под руки, укрепили на ногах. Никон вновь гулкнул посохом.

– Дадут мне устроить церковь, как я хочу и знаю?! – выкрикнул, давя неотступным взглядом помраченного Алексея Михайловича.

– Устройай, владыко! – радостно-звонко отвечивал царь и молитвенно прижал к груди пухлые, обнизанные перстнями руки.

– Устройай! – разрешенно, с облегчением от долгого ждania шумнул люд, дыхом пригасив свечи и качнув люстры.

– Как хочешь, как знаешь, ты – великий государь! – терзая пальцами грудицу, проговорил Алексей Михайлович и обронил слезу.

Он немедля хотел венчать Никона на патриаршество, но Никон отнекался, ссылаясь на усталость и нездоровье, да и приуготовиться к торжественному обряду надо как приличествует. Его поддержал будущий рукополагатель – иеромонах митрополит Казанский Корнелий. На том и стали.

Спустя четыре дня Никон в сане патриарха Российского беседовал в Крестовой палате с Алексеем Михайловичем. Был вечер, был стол со свечами, был покой и душевное родство друг к другу. Вел беседу много поживший на свете отец с молодым и почтительным сыном. Говорили о деле давнем, к которому до них никак не смели подступиться вплотную: об скорейшем исправлении русских богословских книг по греческим образцам, чтобы все было в лад с византийской родительской церковью.

– Еще дед твой, патриарх и великий государь Филарет, понимал – многое в наших книгах за долгие времена исказили наши переписчики. Кто по малой грамотёшке, кто отсебятину

вписывал в служебники. С тем их печатали и рассылали по церквам и монастырям. – Вольготно устроясь в мягком кресле, Никон говорил улыбочиво и, сцепив на животе пальцы, крутил от себя к себе большими. Он давно пообвык беседовать с молодым государем как добродушный учитель с учеником. Царь слушал прилежно, но и озабочивал вопросами.

– Правда ли, монахи афонских монастырей собрали наши печатные книги, сколько их было, да сожгли как еретические? – Государь перекрестился, заслонясь от такого греха. – Как можно – в огонь? В них имя Божье!

Никон заерзал в кресле.

– Злое содеяли, – вздохнул он. – Негоже так-то ладить. Ну да Всевышний всем воздаст по делам их: и тем, кто суемудрием да дланью блудною, вооружась пером безграмотным, казнил священные писания, и тем, кто пожигал их ничтоже сумняшеся. Всякому помыслу и деянию надобен праведный суд и толк... Вот Епифаний Славинецкий со братией в Андреевском монастыре опасливо и мудро трудятся над переводами. Добровнимательны монаси киевские и гораздо умны, начитаны и греческим владеют. Потому у них все в точию, в согласии к древним харатейным спискам.

– О том мне Федор Ртищев сказывал, – покивал Алексей Михайлович. – Очень доволен боярин, да и сам изрядно учён.

– И днюет с ними в монастыре, и ночует. – Никон встал, ножничками состригнул нагоревшие фитили свечей, они закоптили вонько жженой тряпкой. Он фыркнул и сбросил их в гасилку с водой. Государь задумчиво наблюдал за его руками. Никон сел на место, обтёр ножнички, потом руки голубой расшитой ширинкой с кистями, подаренной царевной Ириной Михайловной.

– И еще, государь, вернулся инок Арсений Суханов. Уж где он не побывал! В Александрии, Иерусалиме, на всех греческих островах. Что видел и слышал, все в своем «Проскинитарии», то бишь в «Паломнике», дотошно описал. Мно-о-го дельного подсмотрел, книг и рукописей привёз вороха. Одних сундуков больших шесть, да в связках довольно. Во как! Теперь переписчикам да сверщикам сподобнее станет. Да еще в помощь им Иван Неронов, да тож Арсений, по прозвищу Грек, наряжен.

Алексей Михайлович удивленно выпрямился в кресле, упёр кулаки в край стола. Долгое время большими глазами смотрел на патриарха.

– Да его, Грека, патриарх Иосиф за латинскую прелесть в Соловки на покаяние укатал! – не поверил Никону. – Как он в Москве-то, государь-батюшка?

Никон качнул одной, другой бровью, улыбнулся, разглаживая на животе бороду.

– Да какой он латинянин, – ответил ласково. – Много куда и когда ездил по свету, всякие веры познавал. Его и в магометской ереси и в иудейской упрекнуть можно. Но зачем? Гораздо знающий человек и добрый христианин, да и отпокаянил в Соловках усердно, сказывали мне. Этак и Федора Ртищева легко к еретикам пристегнуть. Давно уж байки ползают, мол, он с киевлянами денно и ношно возится, русский язык забыл и одно на латинском с ними горгочит. Уши вянут от вранья несусветного. Уж как возьмусь болтунам подпруги подтягивать, рассу- понились, вишь!

Царь дернул щекой и отмахнул ладошкой, будто что досадное смел со стола.

– В кнуты болтунов!.. – помолчал, смиряя гнев, попросил: – Ты, отче святой, о Суханове мне, да поширше.

Никон вздохнул и начал с нажимом, но и с осторожей:

– Службы у греков не боголепее наших, говорит, а народу в церквах поболе. Священство строго в один голос поет, но это и мы у себя налаживаем. Но что особливо важно – они со времен апостольских «Аллилуя» трегубо возглашают, а имя Господа величают Иисус, не как мы – Исус, Николу – Николаем, и крестятся испокон веков тремя персты. И других различий, сказывал, много. Надо и нам, государь, с греками воединосогласие литургию служить. Предки

наши от них православие приняли, а не они от нас. Вера их в чистоте истинной, а наша искривлена бысть... Решаю, государь великий, стать воедино во всем с Греческой апостольской церковью и в символах веры и в троеперстном знамении.

Алексей Михайлович не удивился услышанному. Сам достойно знал всё богослужение, мог бы и службы править не оплошней церковного синклита. И о троеперстном знамении у греков наслышан, и о чинопочитании беседовал с патриархами, особенно внимал константинопольскому Паисию, но как государь светский явно вмешиваться в дела церковные, в дела отправления служб не хотел. Это не уряды по соколиной охоте, кои сам сочинил и строго соблюдал.

– Уж поступай как знаешь, великий государь-патриарх, – тихим и ровным голосом ответил Никону. – Это в твоей воле и власти, но мнится – склизкое дело сие. Не раскатиться бы на нём, да затылком об лёд. Новизну вводи не торопко. Бойся народу нагрубить.

Патриарх слушал его и все более гнул непокорную шею. Глазами поблекшей сини, будто их опахнуло инеем, исподлобья, мёрзло, водил по лицу государя. И царь смешался, сронил недосказанное перед набычившимся «собинным другом».

– Зачатое долго носить – мертвого родить! – жестко, как вколачивал гвозди, выговорил Никон. – Гиблое место махом проскакивают, горькое единым дыхом пьют! Так ведь в народе-то говорят.

– Но, святитель, и другая присказка в народе живёт: слушай, сосенка, о чём бор шумит, – опять тихо, с намёком предостерёг государь. – Всяк знает, что решил Стоглавый собор сто лет назад: «Кто не крестится двумя персты, как предки наши спокон века, тот да будет проклят...» Как втолочь простецам, что грешили иерархи наши, узаконивая правило еретическое? Не поймут! Дитяти и те знают – первые святые русские Борис и Глеб, Александр, по прозвищу Невский, Донской Димитрий знаменовались двумя перстами. И преподобный Сергей Радонежский ими же воинство русское благословлял на поле Куликово. И на иконах они так знаменуются. Сам Господь Вседержитель на них то же показывает, а люди созданы по Его образу и подобию.

Перебирая вздутыми в суставах пальцами граненые четки, Никон мрачно кивал, шевеля отвисшей губой и сдвинув союдно густые брови. Царь умолк, вопрошающе глядя на патриарха. И Никон заговорил, вразумляя:

– Надобно различать перстосложения. Вот молебное. – Он свёл три пальца вместе. – А вот благословляющее: большой палец пригибаем к безымянному, малый оттопырен. Так только Господь и святые Его благословляют. Потому у греков крестное знамение молебное тремя персты. А мы на Руси вроде бы всем миром опреподобились – себя и все вокруг двумя перстами святим, обольстясь лукавым суемудрием. Грешно так дальше поступать.

– Я-то разумею, различаю и приемлю такое, – заметно робея, со смутной тревогой в сердце, проговорил Алексей Михайлович. – Может, и пришло время для державы нашей стать воедино с греческой церковью... А как Русь православная примет, как отзовется, как до всякой души достучаться?

Грозно глядя на него, Никон учительски отчеканил:

– Сказано: толците – и вам отверзится!

Государь разволновался. Полное лицо в темно-каштановом окладе волос и бородки потерянно обмякло, побледнело творожной отжимью, карие глаза, будто вишенки из снега, смятенно и вопрошающе пялились на патриарха. Ему въяве чудилось, что в этот миг, рядом где-то, скрежещет и вот-вот рассадится железная цепь, что, злобно радуясь скорой свободе, кто-то ужасный, обезумев, рвется со стоном и скорготнёй зубовой на широкую волю. Каков он обличьем – неявлено и неизреченно, власть и сила – незнаема. И спасенье от него в Никоне, в его каменной, неборимой воле.

Алексей Михайлович оперся на подлокотники кресла, расслабленно выжался из него, встал, и его мотнуло, как пьяного. В легком домашнем зипуне зеленого атласа с рукавами в серебряной объяри, в частом насаде жемчужных пуговок, кои ручьились от шеи до колен, стоял перепуганным отроком пред очами грозного отца – все видящим наперед властным домоводителем. Никон тоже ворохнулся в кресле дородным туловом, всплыл над столом чёрным медведем. В клобуке с воскрыльями, опершись на посох, глядел мимо государя в узорчатое окно, слепое от прильнувшей к слюде темноты, сам тёмный, перехлестнутый по груди золотыми цепями наперсного креста и Богородичной панагии.

Он предугадывал, чего будет стоить ему и Руси затеянная ломка привычных обрядов, что изменить их в сознании народа значило оскорбить веками освященные предания о всех святых, в Русской земле просиявших, грубо надломив духовную твердь – унижить древнее благочестие. Решиться на такое мог тот, кому неведом был дух и склад понятий русских, а Никон был плоть от плоти своего народа, не как чуждые всему русскому греческие иерархи. Но на них-то, не будучи «творцом мысленным», а дерзким скородеятелем, опирался патриарх, чая поддержку безмерному властолюбию своему.

– Надобе созвать Поместный собор, да со вселенскими патриархами, – глядя на окно и как бы убеждая кого, притаившегося там, в темноте, вздохнув, заговорил Никон... – Одному мне не подтолкнуть Россию к свету истинному. Волен будет и собор разделить со мною тягость задуманного. Не всуе тревожусь я. Говаривал давне пустыножитель Антиохийский: «Ступивший на ложную тропинку пролагает по ней дорогу грядущему поколению». И мы, грешные, который уж век топчем дорогу ту. Пора сворачивать на стезю верную. Крут будет сворот наш и многоборчен, но надо, надо ломиться к свету государств просвещённых.

– Э-э-эх! – долгим выдохом восстал Алексей Михайлович. – Может, погодим с собором-то. Дуги гнуть не гораздо уменья, надобе и терпенье.

Никон повернулся к нему, кивнул, соглашаясь.

– Знатная поговорка, – подтвердил он. – А я скажу другую, сын мой. Она в точию о Руси нынешней: с одной стороны горе, с другой – море, с третьей – болота да мох, а с четвертой – ох!.. Храни тебя Боже, государь.

Алексей Михайлович подставился под благословение, заметил, что Никон шепотью обнес ему грудь, и, чуть замешкав, ткнулся губами в руку патриарха.

После ухода государя к Никону напросился Иоаким – архимандрит Чудова монастыря. Поведал о явлении к ним старца, неведомо откуда и обличьем дивного. Дряхл весьма, а языком, что рычагом ворочает, страх слушать. В коих летах – не сгадаешь, сам не помнит. Но очень древен, простые смертные по столь не живут. А уж как в келье монаха Саввы обрёлся – ни умом, ни поглядом не сгадано. Никтожеся не упомянул, не зрел, чтоб в ворота обители монастырской посошком торкал. Ночью они всенепременно на засовах дубяных.

– Тебя, государь великий, к себе звать велит, а сюда никак нейдет, – тараша глаза и прикрывая рот ладошкой шептал Иоаким. – Аще и посланьице тебе со мной наладил. Говорит – так надобно. Каво с ним делать велишь?

– Со старцем?

– С посланьицем, святитель?

– И где оно?

– Да вот же, вот! – Иоаким сунул руку в пазуху, извлёк и подал Никону ременную лестовку-чётки с бобышками для счёта молитв, связанную узлом-удавкой.

– Мудрено сие, – разглядывая ее, усмехнулся патриарх. – Что за притча, пошто узел?

Архимандрит приподнял плечи, шевельнул локотками, мол, нет понятия. Никон, досадя, отмахнулся от него, пошел к двери.

По Соборной площади и улочкам шагал к Чудову широко, вея полами черной мантии, не замечая кланяющихся встречных. Тщедушный Иоаким, с желтым, костяным лицом, – рот

нараспашку, язык на плечо – еле поспевал за похожим на огромного ворона патриархом. Невыразимая тоска нудила душу Никона, подгоняла глянуть на того, кто своим явлением принёс ее, неизвестимую и досадную. Он и калитку монастыря, и двор промахал бегло, будто боялся не застать пришельца и остаться жить с неразгаданной тревогой. Только у низкой двери в келью слепца монаха Саввы перевёл дух. За спиной хрипел от удущья Иоаким, настойчиво протискивался ко входу.

– Не надо тя. – Никон посохом отгрёб его в сторону.

Оконце в келье было отпахнуто. Припоздненно и сонно пришептывал прижившийся при монастыре соловей, на маленьком столике длинно и копотно горела свеча, было прохладно и сыро, как в промозглый день на погосте. В боковушке кельи сидел на чурочке, подперев посошком маленькую головку, седой как лунь старец в длинной и белой рубахе с пояском из лыка, в белых портках и берестяных лаптях. Длинная борода снежной застругой висла до острых колен. Дитячьим личиком, подкрашенным бледным румянцем, он казался Никону одряхлевшим херувимом. И патриарх не посмел благословить его, так было ясно видно – старец уже не нужит об этом. И Никон молча стоял перед ним, как над заметёнными снегом живыми ещё мощами.

Старец нескоро поднял голову с посошка, шевелил усами, собирал немощные силы выговорить что-то и не мог. Но необъяснимо живо под сугробами бровей незабудками в весенних оттаинках мудро и мощно светились его глаза. Глядя на лестовку в руках Никона, он неожиданно звучно предсказал:

– Тако удавишь ты веру древлюю!

Никон откинулся, как от оплеухи, выронил связанные узлом четки. Жаром обдало его, и тут же холодом, будто лютой стужей пахнуло от сугробного старца. И поплыл в страхе туманьем, слыша вскруженной головой:

– Не унять те качание мира, токмо усугубишь. Ведай же: ангелы днесь навестили меня. Один мутный, другой ясный. Тёмен был ликом ясный. Мутный – светился. И понужал меня: «Поспешай почить в Бозе своем, старче, есть еще время малое душу спасти, пока не захлопнулись врата к Вышнему. Наше настаёт время!» И рассмеялся мутный. А ясный прикрыл лице свое крылом и заплакал: «Увы! Увы! Выпросил сатана у Господа светлую Русь за грехи ее мнози и скоро всю окровянит ю!»

Старец желтой косточкой искривленного пальца потянулся к Никону.

Патриарх попятился.

– Т-ты... кто?! – всхрапнув от ужаса, удушенно выкрикнул он. – Меня мнишь антихристом?!

Старец с пристальной грустинкой в глазах качнул головой.

– Не-е-ет, – как пропел он и устало завесил глаза бровями. – Ты токмо шиш антихристов, но волю его содеешь.

Никон обронил голову и, до ломоты в скулах сжав зубы, замычал, возя по груди пышной бородой. Золотой наперсный крест то уныривал в нее рыбкой, то выныривал, слепя старца синими брызгами дорогих камней, и старец голубой влажью ослезненных их высверками глаз скорбно глядел на патриарха.

Никон исподлобья пометал глазами и только теперь в затемненном углу кельи заметил монаха Савву, в страхе прильнувшего бледной щекой к холодной печи. Округлив рот и блукая бельмами, слепец слушал ожутивший его разговор. Патриарх куснул губу, она хрустнула, и теплая струйка осолонила губы. Он тылом ладони отер их, тупо уставился на испачканную руку, потом так же тупо на ведуна, шагнул было к двери, но остановился, будто кто осадил его, и низко поклонился старцу.

– Кто... ты... не ведаю, – чужим, рваным от сипоты голосом, прохрипел он, – но не стать по вредным словам твоим, скорее подохнет сатана!

– Он и не хворал еще, – шепнул старец и вновь опустил, приладил бороду на посошок. – Пожди до вечера – наешься печева.

Никон задом толкнул дверь и выпятился из кельи. Прикрыл дверь тихонечко, как прикрывают, когда в доме беда или покойник. Поджидавшему его Иоакиму мрачно кивнул.

– Подслухом стоял? – зашептал, приблизя лицо. – Молчи! Вижу – слышал. А Савву отсели куда подальше, знаю его – мала ворона, да рот широк.

– Ноньче и отправлю, – угодливо закланялся архимандрит. – Очми не видит, а ушми чуток. В Спасо-Каменный ушлю. Там келья гроб – и дверью хлоп. Вот каво мне со старцем деять?.. Да нешто поет? Старец?

Иоаким выстурился лучком, придвинул ухо к двери, но и так было слышно херувимски чистое: «Отверзу уста моя-я». Патриарх сдвинул пятерней плечо архимандрита, нацелился в грудь пальцем.

– Тс-с! – пригрозил. – Закончит катавасию, узнай, откуда и куда бредёт. Да с лаской, с обиходом. От кого чают, того и величают. И сплавь скоро.

– Тако, тако, святитель, – отшепнулся Иоаким. – Сплавлю. Под пеплом жару не видать, а все опасно. Куда ушлю – сам забуду.

Никон кивнул и огрулым шагом пошел из монастыря. Услужливые монахи встретили у выхода с суконными носилками, но он не сел в них, как всегда бывало, ткнул посохом в проём Фроловской башни – туда мне – и пошел, и растворился в чёрном створе ворот.

Они не запирались на ночь, лишь перегораживались рогатками. Возле них кучкой толпилась стража – стрельцы и наемные рейтары – балагурили, покуривая немецкие трубочки. Увидев внезапно явившегося патриарха одного и ночью, что удивило их и напугало, стрельцы разбежались по караульням, пряча в рукавах кафтанов сорящие искрами горячие трубки. Немцы-рейтары остались, вежливо кланяясь, развели рогатки. Никон никак не обратил на них внимания, двинулся по мосту через прокопанный вдоль кремлёвской стены ров, загаженный отбросами, с вялотекущей в нем Неглинной и ступил на «Пожар» – Красную площадь, всю заставленную торговыми рядами и лавками. В ночи они не были видны, но густым, настоявшимся запахом большого торжища выдавали себя. Жабря ноздрями, Никон вдыхал давне знакомый, терпкий дух и ему представлялось – стоит на берегу Волги, а плывущие мимо дощаники, сплотки и барки опахивают его вонько кислой кожей, смолю дегтя, копченой и солёной рыбой, даже дымом кострища, разложенного на сосновом, янтарном плоту.

Вроде и не было перед ним большого города, но он, невидимый, жил в ночи. Жил сторожкой тишиной, смутными шорохами. Справа по Васильевскому спуску притушёванно выглядывал Покровский собор в витых бессерменских чалмах, ниже едва угадывались Варварка и Китай-город. В крошечной тьме только аглицкое посольство являло себя желтоватыми заплатками узких окон, да кое-где тусклыми светлячками блудили по улкам фонари редких прохожих.

Патриарх пошел наискосок через площадь к Казанской, «что на торгу», церкви. Она мало-мальски была освещена, шла поздняя служба, и ему занетерпелось повидать протопопа и друга Ивана Неронова. Уж дней пяток не казал глаз. А тянуло к нему – неуступчивому в суждениях, часто вспылчивому, но всегда рассудительному настоятелю.

Почти одногодки, они легко понимали друг друга, а встреча со старцем так и нудила истолковать его безумные речи. И не исповедоваться шел: патриаршья исповедь – перед Богом. Шел, влекомый нужой, что разговор с Нероновым, сочувствие или дельный совет снимет с души окаянное помрачение от недоброй встречи.

Никон не был робким человеком: долго и зло тёрла его многоборческая жизнь-служба. И теперь, пробираясь сквозь ряды и заслыша придавленный вопль: «Ре-е-жут!», никак не оторопнул. Редкие стукотки сторожевых колотушек теперь, после крика, сплошно зачастили, и

звук их быстро покатился в сторону грабежа или убийства. Гомон скоро утих, увяз в густой тьме. Однако другое неуютство почувствовал спиной, остановился.

– Кто ты там, человеке? – спросил твердо и строго.

– Никитка я, Зюзин сын, – отозвался молодой голос. – Твоего, государь, Патриаршего приказа подьячий.

Никон знал его, усердного переписчика с редким по красоте и четкости почерком.

– Не пятни, подь ко мне, – вглядываясь, приказал он. – Тя Иоаким сюда наладил?

– Сам я. От кума бреду, вижу – святейший патриарх в рядах ходит. Спугался я. Нешто так мочно, государь?

– Никак в темноте видишь? – подивился Никон, чувствуя благодарение к юноше.

– Дак все вижу, владыка святой! – с простоватой хвастецей подтвердил Зюзин. – С детства у меня этак-то. От Бога, бают.

– Ну, коли свет в очах, побудь вожем. – Патриарх взял его под руку, любезно тиснул. – В Казанскую побредём.

Зюзин вел уверенно, но и осторожно, радуясь нечаянной встрече с самим патриархом всея Руси. «Это знак свыше, – ликовал он. – Силы неизреченные так устроят ему, захудалому сыну боярскому, очутиться рядом с ним в нужный час».

И, сдерживая благодарные рыдания, шел, выводя патриарха из египетской тьмы, представляя себя ветхозаветным Моисеем. И Никон в глуби сердечной радовался нечаянному поводу, искал ласковых слов.

– Вскоре начнем устроить на Руси Иерусалим, – заговорил он и ощутил, как напрягся локоть молодца. – Новый! С таким же, точь-в-точию великим храмом. Сам на леса первые кирпичи на горбу понесу. И тебя возьму на такое богоугодное старание. В дальних годах, отроче, детям своим и внукам сказывать станешь, что с патриархом в самом начале Божьего делания стоял. С этой ночи служить тебе при мне, в Крестовой. Доволен ли?

– Святейший! – шепнул Зюзин, не сдержался, всхлипнул и ногами заплел. Никон крепко сдавил его локоть, чем привел в успокоение.

– По обету, Богу данному, станем каменного дела трудниками, – уже как бы сам ведя юношу, высказывал Никон о давно и тайно задуманном строительстве. Темь ли глухая действовала, или добросердный юноша, неук в жизненной хитровязи, приоткрыл дверцу в вечно настроженную, недоверчивую душу Никона, растопил ледок скрытности.

– Митрополитом будучи, много храмов построил, но такого храма Воскресения Господня на Руси еще нет. Но будет. Будет в нём и темница Христова, и Голгофа, а окрест сад Гефсиманский, река Иордан, озеро Геннисаретское. Ты реку Истру видал?

Оробевший Зюзин только встряхивал головой, слыша невообразимое.

– Вот Истра и есть наш Иордан. Там же быть Назарету, горе Фавору, месту Скудельничью. Новый Иерусалим! Сподобимся?.. И не отвечай. Сам всего наперед до конца не вижу... А вот и Казанская.

Он выпростал руку. Зюзин остался стоять с открытым ртом и, отставя локоть, будто подбоченился. До этого плотно устланное тучами небо проглянуло в частые прорехи перемигами звёзд и стало развидняться. Строгий, в полнеба, силуэт Казанской, как выкроенный, чернел над подошедшими. Линялой бабочкой попархивал в нём тусклый огонек, нехотя маня поздних гостей, да и он скоро пропал, но появился опять уже на паперти. Вышедший из церкви человек держал фонарь у груди, и стало видно – Неронов. Настоятель последним на краткий час перед заутреней покидал Казанскую.

Он не удивился приходу патриарха в столь поздний час, пообвык к ночным набродам друга. Крестно обмахнули друг друга широкими рукавами, обнялись. Зюзину было велено ждать во дворе, под звездами: ночь теплая, парная, пусть пообвыкает быть под рукой всечасно.

Пошли к дому настоятеля, темнеющему тут же в углу ограды. По крыльцу вошли в слабо освещенную лампадами переднюю. Несколько странников и просителей тихо, как мыши, сидели по лавкам. Узрев вошедших, все разом, как трава под косой, повалились на пол.

– Пождите, – повелел им Неронов.

Прошли в домашнюю моленную, поклонились образам, сели за грубый, без скатерти, скоблённый стол. Сидели лицом к лицу. Никон безмолвствовал долго, прикидывал, с чего начать разговор о старце. Из-за него и пришел к Неронову, однако сомневался сокрушенным сердцем – надо ли Ивана посвящать в такое. Припомнилась и пословица: «Знала б насадка, узнает и соседка». Уж больно личное придётся открыть протопопу, а оно илом со дна омута взбаламутилось речами старца. А и не осядет до ясной светлости, ежели промолчать, не слить с души муть досадную. Гнетет она, ох, как гнетет и травит. Ишь, чего сказанул калик переходной – «шиш антихристов».

Вежливой тенью проплыл служка-монах, мягонько уставил на середину стола медный подсвечник с тремя желтыми свечами и так же, призраком, отгёк в низкую боковую дверь. И Никон заговорил не о том, с чем шел к Неронову.

– Ну, что там, Иване? – облокотясь и смяв бороду кулаками, начал он вяло. – Как справщики? Не ленятся? Пошто долго листов готовых не шлюют? Сколь дён мы не виделись?

– Дён с пяток, – вздохнул Неронов. – Я одно в Андреевском монастыре толкусь, церкву забросил, не обессудь. А справщики?.. Скажу – ловки киевские братья-монаси. Федор Ртищев лихо ими заправляет. Или они им. А уж с каким веселием гораздым наши книги денно и ношно шиньгают и черкают! А давность ли Федор из посольства римского воротясь говаривал, что папа их не глава церкви, что и греки не источник веры, а если и были источником, то давно пересох он. Сами от жажды страждут. Чем же им мир православный напоить? Ну, не досадно ли тебе рвением их огречить церковь русскую? Каких перемен нам готовят? Я тебя, Никита, как друга давнего прошу – остуди их резвость огульную. Времена нынче шатки, поберегли бы шапки.

– Ты бы не шатался, Иван! Государи русские давно до нас с тобой подступались к делу сему. Мы завершим его, время пришло. – Никон поднял голову, потёр лоб. – Не надобна нам разногласица с единовѣрными греками. От этого зло и шатание в миру православном. Не встревал бы с помехами, а помогал сверять да править с древних и верных книг. Эва сколь их Суханов привез! Правьте смело. Греха в том не вижу.

– А я вижу! – взвил голос Неронов. – Книги наши правят по служебникам польского печатания. Тож с немецких, а пуще по требнику пана Петра Могилы! Сухановские списки вовсе не сличают. А Федька Ртищев токмо губы поджимает, што красна девка. А уж до символов веры добрались. Ворчат над ними и рвут на части, яко псы! Ты пошто им дозволил так-то?.. Плевелы ереси по Руси сеют без боязни! Я в своре той сговор сатанинский чаю!

– Не взбраживай кипятком, Иване. – Никон ухватил руку протопопа, прижал к столешнице. Промельком дальней зарницы высветило в мозгу – уж не посетил ли загадочный старец и Неронова? Но мысль эта только промигнула и пропала. Заговорил, как оправдываясь:

– Ведь не плоше меня знаешь – попржились издревле плевелы эти в наших служебниках. Вот их-то и изводят толково и опятно. Я же слезу, листы чту со пристрастием. Кое-что возвращаю, но... Намедни в ризнице Иосифовой прибираясь, обрёл саккос патриарха греческого, святого Фотия. Чуешь – святого!.. Саккосу сотни лет, а на нем символ веры изображенный с нашим разнится. Вышито: «Его же царствию не будет конца». А мы у себя чтём: «Его же царствию несть конца». Ну, как не выправить?

– И не надо выправлять! – Неронов выдернул руку из-под ладони патриарха. – Ведь по их мудрованию – конец есть, но боятся его и успокаивают – «не будет». Пошто врут и двойничают? Мы-то знаем – царствию Божьему несть конца! Несть! Стало быть, нету!

– Не бурли, говорю! – прикрикнул патриарх. – Надоело с тобой по пустякам сущим рядиться. Ревёшь трубой иерихонской. Весь сыр-бор из-за одного слова.

– Убиенное в слове да оживет в духе! – не сдавался протопоп.

Нет, не налаживался разговор на нужное, да и Неронов, как никогда, расфыркался. Так и сказал ему:

– Уймись и не фыркай, урос.

– Не конь я, чтоб фыркать! – тут же взвился протопоп. – Речь имею человечесью. Дивлюсь, не берешь в толк ее. А давно ли мы, други твои, в патриархи ты подвинули? Мнили – не дашь лихомани латинской корни пущать в земле отчей, а они роются в нашей поране червями гнусными. Такое в самозванщину было, да народ смёл нечисть. Радовались – всё! Пронесло заразу, ан нет! Ты ее самовластно возлюбил, назад ташшишь! Нешто с хвоста хомут напяливают, нешто землю вверх лемехами орают? Сам многожды говаривал, что де малороссы и греки давно сронили истинную веру и крепости нравов у них нет!

Корчили Никона слова протопопа. Было, говаривал много и всякого, да новое время поновому метёт, не видит сам, что ли? А как хотел иметь в Иване близкого и сговорчивого помощника, а он эво как упёрт в самом малом. А ведь и начитан, и умён, и годами горазд, а все ж дурак. Нешто ослеп и не углядывает – сам государь милостив к справщикам, ездит к ним часто, поправления чтёт и не видит в них ереси. Отнюдь – подгоняет: скоренько, да скоренько. Чего уж, дядьку своего, Бориса Морозова, обязал всеучастно жаловать киевлян. А боярин строг. Где уж там корни еретические пущать: бдит неусыпно, сам греческий и латинский знает, не то что бестолочи упрямые, кои едва-едва по псалтире бредут, как в потемках, а туда же – латинским да греческим брегуют... Эва как распылался! Вроде степным палом несёт его.

Неронова и впрямь «несло»:

– Отчего Голосов, добрый отрок, не восхотел пошла латинского хлебать и бресть в поводу на убой душевный? Уразумел, что вытворяют над отчими служебниками, ужаснулся и сбёг, чтоб с пути истинного не сверзили.

– Ну и ну-у! – усмехнулся Никон. – Не выучась и лаптя не сковыряешь. А сей отрок твой – лентяй. Его учили читать да писать, а ему, оболтусу, токмо бы петь и плясать. И не убог он, а в потылицу турнули.

– Оно бы так, да не так, – упрямылся Неронов. – Ведь и другие ученики бунтуют и брегуют, а их носом в книги чужемысленные тычут – жуй негожее, а природный язык не чти! И еще скажу о старшем справщике Епифании Славинецком, о его шептаниях и чудачествах о имени Господа нашего Иисуса Христа. Рыгает гнусное, мол, надобе писать Иисус, что де в первой букве есть имя Отца Его Иосифа-плотника, а далее уж имя самого Господа. Ну не вред ли и соблазн сатанинский? Отца Небесного земным подменять? От таких новин в людях шатание и злоба. Поопаслись бы. Народ, он терпит, терпит, а как по слюнке плюнет – уж и море.

– Уймись! – отмахнулся Никон. – Страшно с тобой. Как вебрь, озлился. Вона и щетину на загривке гребнем вздыбил. Не признаю тебя, а любил.

– И ты мне очужел, – глухо, нехотя признался Неронов. – Вот полаяли, насорили воз, а с чем пожаловал ко мне впоzdне, я не утолок в голове своей дурной.

– Утолчешь. Всему свой срок.

Никон встал, навалился на посох, подперся им. Смотрел на протопопа, сжав зубы, с неприязнью, колко.

– По слюнке? – переспросил. – А уж и море?.. – И, не ожидая ответа, пригрозил: – Не баламуть людишек, протопоп, знай место. И к справщикам отныне – ни ногой. Сам усмотрю, или донесут, что хаживаешь – жди гнева царского. И моего, великого государя-патриарха, осуда крепкого. Аль запамятовал, как за гордыню твою и мысль высокую ссылали ты в Карельский монастырь? Ныне и пуще обестолковел, прешь супротив рожна.

Не благословил и руки не подал. Устало, осадисто протопал к двери, толкнул ее посохом. Дверь медленно отошла, и патриарх вышел в приёмную. Пусто было в ней: слышный ли отсюда громкий ор протопота спугнул просителей, или усердный Зюзин выпер их на волю. Вот он стоит у выхода на крыльцо, пламенея в свете двух напольных поставцев лохматой своей головой.

«Рыжий да красный – человек опасный», – вспомнилось Никону, однако, проходя мимо, дружелюбно похлопал молодца по плечу.

Было утро, было почти светло. Туманная предрассветная издымь робко таилась кое-где в закоулках, но с востока алой горбиной выпирала сочная заря, предвещающая благолепный день. Могучая взлобина Боровицкого холма, будто красным кушаком, обмотнулась кремлевской стеной. Из-за неё и там и тут бледно намалеванными ликами с фресок выглядывали купола и маковки многих церквей. Одна Ивановская колокольня выметнулась над ними. Чудилось – привстал на носки Иван Великий и, первым обмакнув в полымь солнечную державную главу свою, хвастливо сверкал-обсеивал Кремль и Москву златопыльным дождем.

На площади в рядах и лавках начинали копошиться купцы. Избыв ночную сторожность, лениво и сонно перебрехивались псы. И вот, как спросонья, как бы зевая с протягом, восстали колокольни. Патриарх различал их голоса, особенно любого ему «Ревуна, великопостного голодаря».

Он остановился и, жмурясь на солнечный сноп Ивана Великого, осенил себя троекратным знаменем.

– Вот и заутрени пора, – обласканный добрым утром, звоном малиновым, унесшим ночное раздражение и страх, облегченно вздохнул он.

Пав на колени, Зюзин торопко и прилежно крестился, обронивая до земли яркую голову.

«Ишь какой, впрямь святоша, – улынулся Никон. – Токмо во святых рыжих нет, не припомню рыжих».

– Какого прихода ты, отрок? – ласково спросил он. – Меня далее не провожай. Один пойду.

И пошел, оставя посреди Пожара озадаченного, но радостного вниманием патриарха Зюзина. И в спину владыке подьячий запоздало, шепотом прошелестел:

– Зачатьевского прихода я. У Анны, что на краю.

Чуткий на ухо патриарх расслышал, отмахнул посохом в сторону Китай-города.

– Так поспешай к заутрени! – приказал. – Нынче же позову.

Службу Никон отстоял как простой прихожанин в ближнем Чудовом монастыре у Фроловской башни. Ничего необычного в этом не было. Часто посещал церкви по всей Москве, иногда сам отслуживал обедни. Но в нынешнее утро стоял службу в Чудовом по другой причине: надобно стало повидать Иоакима. Однако архимандрита на заутрене не усмотрел. Отстоял службу до конца и поспешил к себе в патриаршие палаты.

Едва ступил в сени – навстречу Иоаким: сухокостное лицо со впадинами худобы на щеках вовсе заострилось топориком, бороду скосило набок, и, видно было, отняло язык. Он еле шоркал сапогами навстречу патриарху, пустоглазо уставясь на него, и рыбиной, выброшенной на песок, хлопал белогубым ртом. Никон, дивясь, бурил его встревоженным взглядом. Видя, как Иоаким, все более горбясь, наваливается на посох, виснет на нём то ли от страха под взором патриарха, то ли от непомерной усталости и вот-вот свалится на пол черным вытряхнутым кулём, Никон подал ему руку.

Иоаким сцапал ее двумя ладонями, посох из-под него скользнул в сторону, брякнул об дубовые кирпичи настила сеней и заскользил по ним, качая отполированными рогами. Прильнув ртом к длани патриарха и отчаянно обжав ее своими холодными, как жабы, руками архимандрит устоял. Скорченного его, подпихивая посохом и подпирая животом, Никон подтолкнул к скамье, посадил и сел рядом.

Ныли ноги от стояния на заутрени, гудела голова, умаянная за ночь всякой всячиной. Посох архимандрита лежал у скамьи брошенной, ненужной палкой. Никон подтянул его ногой в красносافьяновом сапоге с высоким каблуком, натужно нагнулся, поднял, сунул Иоакиму. Архимандрит прижал двурогий посох к груди и, обретши его, поборол немоту и немочь.

– Пропал старец-то, – шепнул, поднимая на патриарха безумные, в синюшных впадинах глаза. – Пропал, как вылетел. Али ишшо как.

– Как «ещё как»? – Никон нагнул к нему ухо. – Истаял, или каво там?

Иоаким безмолвствовал. Патриарх с вывертом, как гусь, ущипнул его за бок.

– Ни лужицы! – ойкнув, выкрикнул архимандрит. – Я в келью к нему прибрел, думал в дорогу наладить, да едва дверку приотворил – хладом мя обдало, яко ветер над головой шумнул.

– Ну, обдало! – тормозил Никон. – Выдуло старца, ли чо ли?.. Да окстись ты, в себя вернись!

– Кстюсь, кстюсь! – Бледные пальцы Иоакима оплясывали грудь. – Не обрёлся старец в келье. Токмо Савва нежитью на скамье торчком сидит, яко до колен дровяной, одно лаптями шаволит и тако вякает: «Быти мору великому после гроз сухих». И глядит в меня бельмами, а в бельмах зрочки, как паучки, лохматятся. Отродясь у него их не видывал!

– Из ума вытряхнулся, или...

– Или, или, владыка, – вновь до шепота опал голосом архимандрит. – Весь он другой какой-то. Сменился.

Опустив веки, Никон думал о чем-то. Привалясь к его плечу вскруженной невидалью головой дышал, выстанывая, Иоаким.

– Говоришь, сменился? – приоткрыв один глаз, переспросил патриарх. – Это ништо-о. Вошь и та шкурку сменяет.

Встал, помог подняться архимандриту, свел его с крыльца.

– Ступай, Савву увози, – приказал.

И долго смотрел вслед Иоакиму, как тот, ссутулясь, с посохом под мышкой, черной мышью семенил через безлюдную еще Соборную площадь.

Проводил архимандрита, взошел по высокому крыльцу в сени Крестовой палаты, выстроенной еще патриархом Иосифом, постоял пред написанным на стене ликом Спаса «Недреманное око». Муть и смута душевная от встречи со старцем и долгим спором с Нероновым так и не покидали Никона. Тянуло прилечь, да знал – ни на волос не склеит сон очи: столько тревог надвинулось, не до сна стало. Вот и теперь, глядя в широкие вопрошающие глаза Спаса и мысленно обращаясь к нему с извечной просьбой: Христе Боже наш, помилуй мя, грешного, – он в то же время просчитывал в уме суетное: выкопаны ли рвы и сколько вбито свай, довольно ли привезено кирпичей на пустующее цареборисовское двориче, подаренное ему царем для большего простора и устройства на нем Патриаршего ведомства. А вбито пока пятьсот свай, да завезено сто сорок одна тысяча кирпичей, да тысяча бочек извести с тремя тысячами коробов песку. Мало сего.

Никон строил много. Будучи митрополитом Новгородским по денежке полнил не только казну московскую, патриаршую, но и свою. Многие подати, сборы, пошлины и вложения бояр и купцов сколотили ему хорошую деньгу. И все шло на каменное дело – постройку монастырей, храмов, богаделен, на пропитание нищих и убогих. Всякий день будний усаживал за стол брашный до трехсот нуждающих и дальних богомольцев. Он и в Москву прибыл небедным, а севши на место патриарха и унаследовав накопленное прижимистым Иосифом добро, удивился упавшему в руки великому богатству. Отсюда и задумка – расширить Патриарший двор с новою Крестовою палатой, возвести церковь во имя святого мученика Филиппа, считая его своим небесным покровителем.

Работы в Кремле шли быстрым ходом, а уж на реке Истре присмотрены и выкуплены у окольничего Боборыкина земли с деревнями. И уже забродило на них невиданное прежде на

Руси людское радение в воздвижении Нового Иерусалима. Эта обетная Богу стройка удивила и напугала бояр. Они возроптали – мало ему старого патриаршего дворца? Захапал, считай, половину Кремля под новый, а все мало. Скоро всех турнёт за Китай-город! Сгонит мужичий патриарх древние роды с вотчинных прадедовских мест. Самые отчаянные в глаза попрекали Никона, но он грубил им, широко обводя рукой палату:

– Вот вы кто для меня! – И тыкал пальцем в скамьи и кресла. – Мебель подгузная!

Жаловались царю – урезонь грубияна, пошто вмешивается в мирские дела и дерзить охочь. Князья Воротынский и Одоевский всяк от себя подали челобитные. Доверенный государя, тож не любивший Никона, Радион Стрешнев передал их лично в руки Алексею Михайловичу. Царь, не читая, отдал челобитные шурина своему, Борису Ивановичу Морозову, тот прочитал и положил под сукно.

Когда Василий Петрович Шереметев, князь и боярин царских кровей, вступился за обиды лучших людей, помятуя о своих с царем родственных связях, то Алексей Михайлович мягко, чтоб не шибко обидеть большого боярина, урезонил:

– Хоть мы и одного корня – Федора Кошки, пятого сына Андрея Кобылы, боярина великого князя Симеона Гордого, но бармы царские у нас – Романовых. Так Богу угодно. И не тебе докучать нам, государю моему и великому князю, вредоносными прошениями. Досадно это. Вижу – засиделся ты в Москве, Василий Петрович, обомшился, яко пень. Поезжай-ка, пожалуйста, да повоеводь в Казани.

Никон знал об этой отповеди царской: сам Алексей Михайлович сказывал о ней. И теперь, войдя в Крестовую палату, выпроводил из нее всех ждущих его просителей и прошел далее – в Золотую с двумя четырёхсаженными столами, крытыми зеленым бархатом и такими же вокруг них скамьями, сел за малый столик в золоченое кресло.

Стены палаты, обитые смугло-коричневой кожей с золотным тиснением, поблескивали давленными узорами цветов и трав. Усталый персидскими коврами пол и толстенная кладка стен гасили всякие шорохи. В окнах весело перемаргивалась расписная слюда, вправленная в хитрокованные переплётнины.

Покой и тишина умиротворили патриарха. Перед ним на округлой столешнице из витой карельской березы потаенно-матово светилась большая золотая миса. В ней, тоже золотая, высилась митра-корона, искрила драгими камнями и окатным жемчугом.

Обеими руками Никон бережно приподнял её, тяжёлую, отставил в сторону и, лаская глазами, любовался золотой малой братиной в лазоревой финифти, а больше того свитком под царской печатью. Вся эта щедрая лепота была подарена ему государем ко дню Успения Пресвятой Богородицы.

Свиточек же, писанный рукой царской, стоил дороже всего злата-серебра, был оберегой Никону во всех делах и помыслах. Что в нём написано, помнил как «Отче наш», но перечитывал во всякий день, когда, притомленный многими делами, искал подкрепления порывистому уму. Одно касание к нему вливало уверенность неуступчивому в вопросах церкви и государства новому, беспокойному сердцем патриарху.

Молитвенно никня густо-серебряной головой пред всеильной «оберегой», извлёк ее из братины, развернул и вслух прочёл самое заветное:

– «...Нам же во всем его, Великого государя-патриарха, послушати и от бояр оборонять и волю его всенепременно исполнять».

Так обязывал себя помазанник Божий. А перечить царю – Богу перечить.

Прозвонил колоколец. В палату вошел аккуратный во всем, красавец и слуга верный, стряпчий патриарха – Дмитрий Мещерский. Никон кивнул ему:

– Сказывай.

– К тебе, владыка великий, князи навяливаются.

– Кто нонича? – нахмурился Никон, пряча в братину свиток.

– Сызнова Воротынский да с ним Долгоруков, что из Сыскного приказа в сенях преют, – язвительно доложил стряпчий. – Каво прикажешь содеять с имя?

Никон прищурился на услужливого Мещерского. Стряпчий никак не выносил такого вот выскующего взгляда патриарха, смешался, хлопая белесыми ресницами, заалел лицом.

«И этот рыжеват, – будто впервые видя своего слугу, подумал Никон. – Да, пожалуй, совсем рыж».

Помучил стряпчего долгим неответом, приказал:

– Воротынского спровадь подобру-поздорову: много докучен брательничек государев, а Долгорукого, кнутобойцу, в сенях изрядно потоми. Научай гордецов ждать зова. Пообвыкли валить напролом к Иосифу-патриарху в обе Крестовые во всяк день и час. Вот и научай чинному обхождению. А учнут лаять да ворчать – ты мне их лаянья на грамотке подай.

Мещерский ужом увильнул за дверь, с осторожей притворил дубовые створы. Никон приподнял митру-корону, она заискрилась многоцветьем каменьев. Повертел в руках, благостно млея от их утешного плескания, от тихого свечения жемчужного навершенного креста и прикрыл ею братину. Улыбаясь, поерзал в кресле, устроился поудобней, вытянул затекшие ноги.

Забыться на миг будким сном соловьиным не дал глухой, но уверенный перетоп. Патриарх подобрался в кресле, огладил бороду, приосанился. Так ходил по дворцовым покоям один человек – Алексей Михайлович.

Боковая узкая дверь, обитая кожей, неприметная в золоченой стене, хозяйски распахнулась. Царь, а за ним духовник его Стефан вошли в палату. Никон встал, осенил их, опаживая лица широким рукавом мантии. Они поясно склонились, целуя ему руки.

Алексей Михайлович распрямился, смутными глазами широко смотрел на патриарха. Чужа неустрой в душе государя, Никон взял его руку в обе свои, нежно поцеловал в ладонь.

– Чем опечален, сыне? – с участием, как должно заботливому пастырю, спросил, лаская пальцами длань царскую.

Алексей Михайлович вежливо выпростал ладонь из рук патриарха.

– Отче святой, – виноватясь, начал он. – Так уж много шлют жалоб мне, государю, да все опять про нелады церковные. – Вздохнул, потупил глаза. – А пошто не тебе? Мне недосуг их честь, да и не патриарх я. Уж отпиши ты по градам и весям, вразуми паству.

Царь обернулся к Стефану. Протопоп держал под мышкой пухлую кипу листов, перевязанную тесёмкой. Никон встретился взглядом со Стефаном, повел глазами на столик. Вонифатьев молча положил связку на столешницу рядом с митрой.

– Писал я, писал в епархии, строго наказывал – впредь не слать жалоб государю, – мрачняя, заговорил Никон. – Ан все шлют! С какой гоньбой шлют, неведомо. Не иначе гонцами пешими. Велел же токмо в руки тамошних протопопов да епископов челобитные подавать, чтоб с казной пошлинной слали в приказ Патриарший. Помилуй, государь, поток сей запружу.

– Уж запрудь, батюшка, – бледно улыбнулся Алексей Михайлович. – Поблагодарствуй делом... А тут, утресь, отец Стефан еще дурной вестью удручил: поп Лазарь, что в помочь протопопу Муромскому послан бысть, – сбёг. Воевода отписал, мол, прилетел попец, крутнулся вихрем и – в град Романов. Там тож людишек взвихрил и, ополоумя, в Москву кинулся. Да и не один он. А под чье крыло? Огласи-ко, отче Стефан.

Вонифатьев, покашливая, промакнул ширинкой, обшитой по углам васильками, испарину на обескровленном лице.

– Лазарь в Казанской. У Неронова, – пряча платок, с досадой произнес он. – И Никита суздальский объявился. Тож и протопоп Симбирской Никифор.

– Тож у Неронова? – не дивясь, зная наперед ответ Стефана, закивал головой Никон. – Овечка да ярочка – одна парочка.

– Проповеди с паперти добре чтут, как встарь было.

– Ну-у... Знаю я их, пустосвятов, – ухмыльнулся патриарх. – Уж не отбрел ли от места своего и Логгин с Аввакумом?

– Сказывают, Логгин на крестце варваринском замечен, – удушливо, в кулак, подтвердил Стефан. – Принужден бысть от побоев сбечь. Аввакума ж на Москве не слышать.

Никон поднес руку ко лбу, но тут же уронил плетью.

– И это «труба златокованая», твой Логгин? – спросил жестко. – Не ты ли так окрестил его, Стефан?.. Знать, непотребно трубил, коль убёг от пасомых, знать, самому мне ехать к разбредшему стаду гужи подтягивать, да на их места потребных пастырей ставить. Поутру отправлюсь по епархиям, государь, ежели изволишь.

– Изволяю, – кивнул Алексей Михайлович. – Поезжай благославясь. И меня осени, отче.

Никон благословил. Царь, озабоченный, с надутыми губами удалился в потаенную дверь.

– И тебе бы, Стефан, с Москвы на время в отчину свою съехать. – Патриарх жалостно глядел на протопопа. – В лесах-полях да по водным свежестям здоровьем надышишься. Хворь и отпятится.

Стефан то ли засмеялся, то ли закашлялся:

– Добре. Съеду. Хоть на заду, да к своему стаду.

Обнадежил Аввакум вдовицу, жёнку стрелецкую, вернуть в отчий дом скраденную бывшим воеводой дотчонку, да все недосуг было. Мотался первые дни с обыскной книгой по монастырям и церквам, сверяя податные долги в приказ Патриарший. А недоимок всяких накопилось многонько, да выжать их у люда было тягостно: городские пролазы и сельские простецы дружно хитрили, выпрашивая отсрочки за гольным безденежьем, однако в кабаки хаживали усерднее, чем в церкви Божии. Там, в угаре сивушном, чаду табачном пластали до пупа рубахи, а пропив и крест – выгудывали осиротевшую грудь кулаками, без страха понося протопопа:

– До лаптей оборвал, собака!

Одурев от хмеля – глаза поперек – куражились:

– А нам ништо-о! Самого облущим, да в ров с раската псам сбросим!

– Службами долгими уморил, когда и работать! Всё рай небесный сулит, а нам ба земного стало!

Зудили Крюкова-воеводу кабацкие бредни опасные. Наряжал в помощь Аввакуму стрельцов да бездельцев-пушкарей. Радел много, да и подоспевший указ государев строгий велел: «Всяко да расторопно вспоможенствовать протопопу нашему». Царь писал за собственной рукой, как всегда, длинно и украсно о карах за лень и пьянство, о игре в зернь, о праздных людешках, воровстве. В конце, по обыкновению, острастка: «Быть всем мытникам, лежебокам-отикам подручникам сатанинским под немилостивой кнутобойной сжогой».

Вот и рысил Аввакум по Юрьевцу и округе, сгонял ни свет ни заря с лавок и печей прихожан, долбил клюкой або посохом в ставни и двери, будил нерадивых к заутрене. Ослушников всякого рода и звания прищемлял строго, упрямцев сажал на цепь в подвалы и стену городскую в заноры. Не ел, не пил – высох до звона, лохматое лицо в себя провалилось, нос кокоринной выкостился, одни глаза светились неистовостью. И добился своего упрямя-пастырь, наполнил заблудшими овцами церкви, оживил их дневными и всенощными бдениями. В очередь и внеочередь сам службы правил, чёл проповеди с папертей и на стогнах града и на людских торжищах. Поспевал всюду: венчал невенчаных, отпевал усопших, крестил неокрещенных. Строг был, но и милостив по надобности. И зажурчились серебряные чешуйки-денежки в надежную кису для казны патриаршей.

А тут и случай подоспел: с досадой на людей государевых служивых завернул протопоп ввечеру на двор Дениса Максимовича. Жаловал воевода Аввакума – обнял при встрече.

Народу на широком дворе было густо. Тут и стрельцы во всеоружии, подводы с припасом, челядь по кладовым воеводским снует – таскает до кучи всякий боевой доспех. И пуш-

кари, прихмуренные бородачи, возле двух пушечек голландских колдуют, на дубовые лафеты прилаживают. Дивился Аввакум на суету.

– Никак, Денис, на Литву ополчаешься?

– Боже упаси, – отмахнулся Денис Максимович. – Тут свои вскрамолились, шалят. С понизовья от Астрахани черемисы да нагайцы с вольными людишками вверх по Волге гребут да грабят.

– Уж не лихо ли новое наваливается. Опять Русь воруют, – встревожился протопоп. – Сам-то как прикидываешь?

– Ништо-о! Лихо нонича мелкое, – зашевелил красой-бородой воевода и, выгордясь – грудь ободом, огладил ее, холя. – Тут пред твоим приездом пятерых лазутчиков, воровских мутил, на торжище повязали да на плотях на глаголы вздёрнув, пустили вниз по Волге остратки для.

– Видел я остратку ту. Ж-жуть. Милосердствуй, Денис Максимич.

– К ворью? – удивленно надломил брови воевода. – Их миловать – себе на шею веревку намывать. Вот и собираюсь со стрельцами да двумя пушчонками растолочь ту стервь в зародыше. Ишшо там и казачья шушера с Дону дурит и пагубничает. Но побаивается. Ворье-то мы в полон не берем: кому секир башка, кому картечь, а шибко гулявым да резвым – удавку. Оченно сволота сия пушек не любит. Вишь, снял со стены две? Боле и не надобно.

– А царь казакам благоволит, как не знаешь? – Аввакум заглянул в бесхитростные глаза воеводы. – Они ж в польскую самозванщину Михаила, царствие ему небесное, на трон подсадили. Я их ватагу посольскую в Москве видел. Все в бархате, при пистолях и саблях. Пред боярами шапок не ломают, свысока глядят. К государю с оружием вход разрешен. Во как жалует их царь. Не робеешь?

– Царю – жаловать, а нам, его псарям, не миловать! – тряхнул кулаком и отвел упрямые глаза воевода, но тут же прикрикнул на пушкарей:

– Пищалей затинных пошто не вижу? Снять сколь ни есть из бойниц! Неча ржаветь имя. Да свинцу и пороху вдосыть чтоб. Вдосы-ыть!

Протопоп наблюдал за всей суетой с любопытством. Впервые видел сбор войска на брань смертную. Подошел к пушкарям.

– Пушки палить не отвыкли? – потыкал пальцем в жерло. – Сто лет немотствовали. Небось в утробах их голуби птенцов парили.

– Что им станется, медным! Пробанили песочком да золой. – Воевода взял протопопа под руку, отвел к приказной избе. – Тут, батюшка, грамотка на тя обрелась, а пуще – донос.

Аввакум подобрался, глядел на запрокинутое к нему со смешинкой в глазах лицо воеводы, ждал, чего такого неладного поведует Денис Максимович. Крюков не стал томить любого ему протопопа.

– Ко мне Луконя, знакомец твой прибрёл. Стрелец из Нижнего. Помнишь? – улыбнулся, подтолкнул локтем. – Сотник Елагин с повинной на себя, а на тебя с доносом за спасение блудницы в Москву его наладил. Но хоть и страхом измучан отрок, однако неробок. Душа, сказал, велела ко мне, воеводе, явиться. Всю подноготную выложил. А она этакая: кто-то из тюремных сидельцев, пощады чая, донес Елагину, как ты деву из ямы вызволил как раз в Луконину стражу. Да как в лодию снёс, да как вверх по Волге с костромским Даниилом, рогожками укрыв, сплавил. Боязно стало за тебя. Ну, доносы я изодрал, а Луконю на мельнице упрятал. Он и рад, голубь. В муке извозился – мать не признает. Выходит, не стоять тебе на правее у Долгорукова в Разбойном.

Слова воеводы устрашили Аввакума, но тут же и успокоили. Однако ноги помякли, не двинуть ими, как в колодках. Они помнили давние злые шелепуги во дворе Патриаршего приказа. Прикачнулся плечом к брёвнам избы, долгим выдохом опрастал грудь, сдавленную неожиданной вестью, поклонился благодарно.

– Обмер я, – признался. – До самой смертыньки обмер... Ох уж мне те страсти пыточные. Спасай тебя Бог, воевода... Ух как меня помутило... А шел к тебе с другой печалью. Тут у приказчика дева обитает. Ее бывший воевода Иван Родионыч силком к себе взял и обрюхатил. Вернуть бы стало девку матушке. Убивается с горя вдовица.

– Девка тут. – Крюков показал на жилую половину челяди. – При дворне обитает.

– Так спровадь к матке.

– В шею гнал – ухом не повела. Ревмя ревела, да еще с брюхом горой. – Воевода округлил перед собою руки, поколыхал ими. – Выла, мол, дома в поле хлестаться заставят, а тут при муже-приказчике сытно и лодырно. Бароня!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.